

Эжен Видок

**Записки Видока, начальника  
Парижской тайной полиции**



Эжен Видок

**Записки Видока, начальника  
Парижской тайной полиции**

«Public Domain»

1828

## **Видок Э.**

Записки Видока, начальника Парижской тайной полиции /  
Э. Видок — «Public Domain», 1828

«Во все времена существовали натуры, одаренные богаче других, с большей энергией и большими задатками; эти люди, смотря по тому, в какую сферу занесет их судьба, делаются героями или злодеями, в том и другом случае оставляя глубокий след за собою. Но какова бы ни была их роль на свете, они далеки от обыденной пошлости и, как все выходящее из ряда, невольно привлекают всеобщее внимание, возбуждают любопытство и поработают воображение масс...»

# Содержание

Том 1	6
Предисловие	6
Глава первая	9
Глава вторая	19
Глава третья	26
Глава четвертая	34
Глава пятая	40
Конец ознакомительного фрагмента.	48

**Эжен-Франсуа Видок**  
**Записки Видока, начальника**  
**Парижской тайной полиции**

Перевод Л.М. и О.Ш. (1877).

\* \* \*

## Том 1

### Предисловие

*К изданию 1877 года*<sup>1</sup>.

Во все времена существовали натуры, одаренные богаче других, с большей энергией и большими задатками; эти люди, смотря по тому, в какую сферу занесет их судьба, делаются героями или злодеями, в том и другом случае оставляя глубокий след за собою. Но какова бы ни была их роль на свете, они далеки от обыденной пошлости и, как все выходящее из ряда, невольно привлекают всеобщее внимание, возбуждают любопытство и поработают воображение масс.

К числу подобных исключительных закаленных личностей принадлежит герой этой истории; это, можно сказать, легендарный герой французского народа, столь живо и надолго увлекающегося качествами – телесной силой, храбростью и тонким, хитрым умом; это актер социальной комедии, воспоминание о котором свежо в народе, тогда как множество эфемерных знаменитостей предано забвению. Таков был Видок, начальник охранительной полиции.

Правда, известностью своей он частью обязан тому, что в ряду злоумышленников вел борьбу с обществом. Его необыкновенные приключения, смелые предприятия, хитрости и многочисленные побеги могли бы наполнить не один роман. Но если бы дело ограничилось этим, то известность его не превзошла бы известности Колле, Куаньяра и других подобных злодеев, имена которых, нераздельно связанные с тюрьмой и острогом, запечатлены позором и служат только предметом вредного любопытства. Видок же несравненно выше этих героев уголовного суда, быстро кончавших свою блистательную эпопею виселицей, тем, что он захотел возстановить свое честное имя, вооружась против своих соучастников, и положил свои исключительные способности, свою дорого приобретенную опытность и неустранимую энергию на службу обществу.

Вследствие этого вторая половина жизни Видока еще более богата приключениями, еще интереснее первой. Это целая история погони за ворами. Охота на воров представляет весьма сложную науку, и трудно представить себе, какого умственного напряжения, каких замечательных способностей требует она. Что такое перед этой необыкновенной борьбой борьба таможенного чиновника и контрабандиста? А между тем таможенный досмотрщик должен заранее вообразить себе все, что может изобрести плодовитая хитрость его противника; должен предугадать его тайные намерения, сообразить, что мог бы придумать он сам, если бы был на месте этого *другаго*, если бы сам был контрабандистом; должен противопоставить свое терпение, неустранимость, всю свою проницательность постоянству, воле и сообразительности преследуемой им жертвы; словом, он поражает развившееся и законченное искусство контрабанды искусством более превосходным, ежедневно обогащающимся новыми наблюдениями и логикой событий.

Настоящий полицейский чиновник должен владеть этим высшим искусством в полнейшей степени, и кроме того, этот полицейский Протей должен усвоить себе ловкия и развязныя манеры гнусного обитателя грязных подвалов, его удивительные инстинкты, как бы заимствованные у кошки и змеи; проворство пальцев, ловкость руки, верность глаза, испытанная храбрость, осторожность, хладнокровие, плутовство и непроницаемая маска истинного злодея – вот

---

<sup>1</sup> Предисловие к изданию 1877 года печатается с сохранением стиля и языка того времени.

качества, необходимы искусственному агенту общественной безопасности. Для успешного хода дела ему нужно, наравне с преступником, набить руку в мошенничестве, выучиться искусству вырывать тайны у чувствительных людей, заставлять их плакать над воображаемыми несчастьями, неподражаемому искусству притворяться и менять наружность во всякий час дня и ночи; у него должен быть неистощимый запас средств, бойкий язык, непоколебимое безстрашие и терпение, изобретательная голова и рука, всегда готовая действовать.

Эти исключительные качества, обыкновенно принадлежащие порознь различным личностям, Видок соединял в себе все и в высшей степени: ни один актер не мог сравниться с ним в искусстве гримироваться и разыграть какую угодно роль; для него было игрушкой мгновенно изменить возраст, физиономию, манеры, язык и произношение. Даже при дневном свете, переодетый, он безстрашно подвергался опытному глазу жандармов, полицейских комиссаров, тюремных сторожей и даже прежних соучастников, людей, с которыми жил и от которых ничего не имел тайного. Несмотря на свой высокий рост и дородность, он умел переодеваться даже женщиной. Кроме того, этот странный человек при железном темпераменте имел в своем распоряжении весьма терпеливы желудок, который позволял ему переносить продолжительный голод и предаваться всевозможным излишествам; он мог после обильного обеда с притворной жадностью истреблять самые крепкие напитки и самые непереваримыя кушанья.

Что бы ни думали о Видоке, который, впрочем, никогда и не метил попасть в святые, но нельзя отрицать того, что в качестве главы охранной бригады он оказал громадные услуги, очистивши Париж более чем от двадцати тысяч злодеев всевозможных категорий. Для достижения такого результата ему нужно было ежедневно в течении двадцати лет составлять комбинации утонченнее любого дипломата, постоянно подвергать свою жизнь опасностям, во сто раз ужаснее опасностей битв, и притом подвергать хладнокровно, без энтузиазма сражающихся, без всякой надежды на ореол победителя. В своей беззаботности счастливые граждане не подозревают о тайной борьбе, непрерывно происходящей для доставления безопасности и благосостояния, которыми они наслаждаются.

Понятно, что жизнь столь знаменитого в своем роде человека, как Видок, рассказанная им самим, не могла не быть приманкой, на которую бросилась толпа, жадная до ощущений; и действительно, «Записки Видока», изданные им в 1828 году, после его отставки, были расхвачены с беспрецедентной быстротой. Это было первое сочинение, поразительным образом раскрывшее изнанку цивилизации, мрачную тюремную жизнь и внутренность острогов, знакомящее с выразительным языком воров, который с тех пор так много искажали. Это был животрепещущий реализм, внезапно представший пред обществом, пресыщенным сентиментальными пустячками. Электрические листки читались напереерыв к потрясали люден с утонченными нервами. Только и было разговору о «Записках Видока».

Весьма естественно, что столь громадный, повсеместный успех не замедлил породить корыстолюбивых подражателей. Вскоре появились «*Записки каторжника*» или «*Разоблаченный Видок*», постыдная спекуляция, в которой два литератора не побрезгали соединиться с выходцем из грязи острога и мошеннических притонов. Эти четыре тома клеветы, лжи и оскорблений, высказанных, соответственно содержанию, самым плоским, неприличным слогом, мгновенно завладели доверием публики и вошли в славу. Но реакция не замедлила произойти, и общее презрение справедливо обрушилось на это пасквильное произведение, всеми теперь забытое и погребенное в заслуженной тине.

Позднее, в 1844 году, была сделана новая попытка в подобном же роде. Книжный торговец Кадо издал «*Настоящая парижская тайны*». Это было сочинение двух литераторов, Горация Рессона и Мориса Алоя, более известных за мистификаторов, чем за серьезных писателей. Эта книга, которой Видок подарил только свое имя, имела целью, как гласили объявления и рекламы, затмить славу «*Парижских Тайн*» Евгения Сю заменой его воображаемых

героев настоящими типами, его вымышленных событий истинными фактами, раскрывая все загадочное и всю нищету столицы.

К несчастью, у обоих авторов этих блестящих обещаний не было и тени мощного гения романиста, с которым они вздумали состязаться. *«Настоящие парижские тайны»* были слабым отголоском, безцветным подражанием *«Записок Видока»*; они были лишены всякого интереса и не имели священного огня, одушевлявшего первое издание. Вместо неожиданностей и обещанных открытий в них находили только вещи всем известные, события обыденные, описание одного и того же. Публика встретила эти плутовские тайны полнейшим равнодушием, и они потонули во мраке забвения, тогда как меткие типы Евгения Сю живы до сих пор, а успех *«Записок Видока»* приостановился только вследствие распродажи изданий.

В настоящее время царит большое пристрастие к фельетонным романам, сюжет которых – отыскание и открытие человека, совершившего какое-либо великое преступление. Главный недостаток этих труженических сочинений, материал для которых обыкновенно почерпался из старых знаменитых процессов, был тот, что авторы слишком растягивали содержание, так что читатель, заинтересованный вначале, теряет потом в запутанных подробностях, которым нет конца. Эти произведения никогда не достигали обаяния действительности и блекли перед настоящими, очевидными фактами, как ночные иллюзии блекнут при сиянии дня.

Нам кажется своевременным перепечатание *«Записок Видока»*, мало известных новому поколению. Мы надеемся, что это возобновление правдивой драмы с многочисленными сценами, потрясающими неожиданностями будет принято благосклонно. Публика не может не заинтересоваться этой борьбой порядка с беспорядком, добра со злом, борьбой, ведущейся с основания мира и могущей кончиться только вместе с ним. В предлагаемом сочинении взяты самые интересные эпизоды этой мировой драмы. Его прошедший успех служит гарантией будущего.

## Глава первая

*Знаменательные приметы моего появления на свет. – Атлетическое сложение и раннее, преждевременное развитие. – Достодолжное упражнение своих способностей как в счастливые времена детства, так и впоследствии, в качестве хлебного подмастерья. – Первое воровство. – Поддельный ключ. – Предательские цыплята. – Похищение серебра и заключение в тюрьму. – Материнская снисходительность. – Наконец отец мой взялся за ум. – Новый грабеж и бегство из Арраса. – Поиски корабля, встреча с великодушным незнакомцем и плачевные ее последствия. – Г. Комус, первый физик в свете. – Акробаты. – Пребывание в их среде, обучение их искусству и достославный финал в качестве дикаря с южных морей. – Новые покровители и комичная сцена ревности. – Поступление на службу к бродячему врачу. – Возвращение в родительский дом. – Знакомство с актрисой и новое бегство из тюрьмы. – Поступление в полк и побег из него. – Я перехожу в неприятельский лагерь. – Немецкая расправа и поступление под отечественные знамена. – Любовь экономки, обвинение и две дуэли в один день. – Рана на войне. – Переход в другой отряд. – Возвращение на родину.*

Я родился в Аррасе, близ Лилля. Так как возраст мой определить довольно трудно, вследствие моих постоянных переряживаний, подвижности черт лица и необыкновенной способности гримироваться, то не лишним будет сказать, что это было 23 июля 1775 года, в доме, соседнем с тем, в котором шестнадцать лет тому назад родился Робеспьер. Была мрачная ночь; дождь лил ручьями; гром гремел, и родственница, исполнявшая должность акушерки и вместе гадалки, заключила из этого, что судьба моя будет весьма бурная. В те времена еще немало было простаков, веривших в предсказания; да и теперь, когда люди отличаются большим просвещением, мало ли таких, которые, не будучи кумушками, верят в непогрешимость девицы Ленорман!

Как бы то ни было, надо думать, что не для меня, собственно, разбушевалась природа, и хотя чудесное весьма привлекательно, но я далек от предположения, чтобы там, свыше, сколько-нибудь заботились о моем появлении на свет. Я был одарен могучим сложением, материалу не пожалели, так что при рождении мне можно было дать года два; уже тогда были задатки тех атлетических форм, того колоссального роста, которые впоследствии наводили ужас на самых неустрашимых, самых сильных злодеев. Дом моего отца стоял на плац-параде, куда постоянно собирались мальчишки со всего квартала, и я с ранних лет мог упражнять мои мускульные способности, усердно потчuya тумачами своих товарищей, родители которых, без сомнения, приносили жалобы моим. У нас только и толков было, что об ободранных ушах, подбитых глазах и разодранной одежде. В восемь лет я был ужасом собак, кошек и соседних ребятишек; в тринадцать я довольно порядочно владел рапирой. Отец, видя, что я шляюсь к гарнизонным солдатам, встревожился таким прогрессом и объявил мне, чтоб я готовился к первому причастию. Две благочестивые особы взялись приготовить меня к этой торжественной церемонии. Бог весть, какую пользу извлек я из их уроков. В то же время я начал учиться булочному мастерству: это была профессия отца, который готовил меня своим преемником, хотя имел сына старше.

Обязанность моя состояла главным образом в разноске хлеба по городу, что давало мне возможность часто забегать в фехтовальную залу; хотя родители знали об этом, но кухарки так восхваляли мою любезность и аккуратность, что они смотрели сквозь пальцы на многие шалости. Такое снисхождение продолжалось до тех пор, пока они убедились насчет дефицита своей казны, которая никогда не запиралась. Брат, участвовавший вместе со мною в ее расширении, был пойман на месте преступления и отправлен к булочнику в Лилль. На другой день

после этого распоряжения, причины которого мне не объяснили, я по обыкновению вознамеривался запустить руку в благодатный ящик, как увидел, что он был тщательно заперт. В то же время отец объявил мне, чтобы я попроворнее совершал свою разноску и возвращался в определенный час. Очевидно было, что с этих пор я был лишен и денег, и свободы. Горюя об этом двойном несчастье, я поспешил сообщить его одному из приятелей, по имени Пуаян, который был старше меня. Так как в конторке сделано было отверстие для опускания денег, то он посоветовал мне просунуть туда воронье перо, намазанное клеем; но это замысловатое средство могло мне доставить только мелкую монету, что было весьма недостаточно, и оставалось прибегнуть к подделке фальшивого ключа. Приятель порекомендовал мне для этой цели сына городского. Я снова стал расхищать отцовские доходы, и мы вместе наслаждались плодом этих покраж в одной из таверн, сделавшейся нашим главным местопребыванием. Туда собиралось изрядное число известных негодяев и несколько несчастных молодых людей, которые, чтобы иметь туго набитый карман, прибегали к таким же средствам, как и я. Вскоре я сошелся с распутнейшими личностями местности, и они посвятили меня в свой разврат. Таково было почтенное общество, в котором я проводил свои досуги до тех пор, пока отец не поймал меня так же, как и брата, в момент покражи. Он отобрал у меня ключ, сделал мне приличное наказание и принял такие предосторожности, что с этого времени нечего было и помышлять о разделении его барышей.

Мне не оставалось другого источника, как собирать дань натурою с домашней провизии. От времени до времени я спроворивал по нескольку хлебов, но чтоб отделаться от них, я должен был продавать их по ничтожной цене, которая едва давала мне возможность угощаться тортами и медом. Нужда научит калачи есть; ничто не ускользало от моих глаз и все было пригодно: вино, сахар, кофе, напитки. Мать моя еще не замечала быстрого исчезновения своих запасов, может быть, она и долго бы не догадалась, куда они деваются, как однажды два цыпленка, которых я вознамерился конфисковать в свою пользу, возвысили против меня свой голос. Засунутые под исподнее платье и скрытые моим передником, они вдруг принялись пищать, высовывая своей гребень, и мать, предупрежденная таким образом об их похищении, немедленно явилась на выручку. Я получил несколько оплеух и должен был лечь без ужина. Спать я не мог, и, видно, злой дух не давал мне заснуть. Как бы то ни было, я встал с твердым намерением поживиться серебром. Одно меня беспокоило: на каждой вещи была полными буквами вырезана фамилия Видока. Пуаян, которому я открылся и в этом, устранил все трудности, и в тот же день за обедом я стащил десять приборов и столько же кофейных ложек. Двадцать минут спустя все было заложено, а через два дня из занятых ста пятидесяти фунтов не было ни полушки.

Трое суток я не показывался в родительский дом, как раз вечером был остановлен двумя городскими и отведен в Бодэ, дом, куда заключали сумасшедших, подсудимых и мошенников. Десять дней продержали меня в тюрьме, не объявивши даже причин ареста; наконец тюремный сторож сказал, что я был заключен по требованию отца. Это меня несколько успокоило: то, стало быть, родительское исправление, и можно было надеяться, что со мной не поступят строго. На следующий день навестила меня мать, и я получил от нее прощение; через четыре дня я был свободен и принялся за прежнюю работу с твердым намерением вести себя безукоризненно. Тщетное намерение!

Я вскоре возвратился к старым привычкам, исключая расточительности, так как было немало причин, препятствовавших мне задавать тоны: отец, дотоле довольно беспечный, сделался столь бдительным, что годился бы в начальники городской стражи. Если ему являлась необходимость оставить конторку, мать его немедленно заменяла; мне не было никакой возможности к ней подойти, хотя я постоянно был настороже. Эта неусыпная бдительность приводила меня в отчаяние. Наконец один из тавернских товарищей сжалился надо мною; то был все тот же Пуаян, отъявленный негодяй, подвиги которого памятливы жителям Арраса.

– Нужно быть очень глупым, чтоб оставаться постоянно на привязи! – воскликнул он. – И как пристало малому твоих лет не иметь гроша за душой! Да будь я на твоём месте, я знаю, что сделал бы.

– А что бы, примерно?

– Твой отец с матерью богаты, какая-нибудь тысяча талеров, более или менее, не составит для них разницы. Старые скряги, поделом им! Не мешает возле них погреть руки.

– Я понимаю, что, по-твоему, надо хапнуть разом, коли нельзя по мелочи.

– Именно так, а там задать тягу, так, чтобы не осталось ни слуху ни духу.

– Да, только ты забываешь объездный караул.

– Ничего не значит! Разве ты им не сын? Притом мать тебя слишком любит.

Это соображение о материнской любви, подкрепленное воспоминанием ее снисходительности при моих недавних проказах, сильно подействовало на меня, и я слепо ухватился за план, улыбающийся моей дерзкой смелости; оставалось только привести его в исполнение, а случай не заставил себя долго ждать.

Раз, когда мать была одна дома, явился подосланный от Пуаяна, разыгрывающий роль честного человека, принимающего в ней участие, и предупредил ее, что, вовлеченный в оргию с проститутками, я вздумал всех колотить, все ломать и бить, и что если меня не остановят, то после придется заплатить по крайней мере франков четыреста за убытки.

Мать моя сидела в кресле за каким-то вязаньем; работа выпала у нее из рук, и она без памяти бросилась туда, где предполагала найти меня; место же ей постарались указать в конце города. Так как ее отсутствие не могло продолжаться долго, то мы должны были суметь им воспользоваться. Ключ, который я стащил накануне, дал нам возможность забраться в лавку. Конторка оказалась запертой. Это препятствие почти обрадовало меня: я вспомнил любовь матери, и на этот раз не с мыслью о безнаказанности, а с невольным чувством раскаяния. Я уже думал ретироваться, но Пуаян удержал меня; его дьявольское красноречие заставило меня покраснеть от того, что он называл моей слабостью, и когда он подал мне лом, которым предусмотрительно запасся, я схватил его почти с энтузиазмом. Ящик был взломан, и в нем оказалось около двух тысяч франков; мы их поделили, а полчаса спустя я был один по дороге в Лилль. Вздонованный всем происшедшим, сначала я шел весьма скоро, так что по прибытии в Ленц почувствовал сильную усталость и приостановился. Вскоре проезжала наемная карета, в которой я и занял место, а часа через три был уже в столице французской Фландрии, откуда немедленно направился в Дюнкирхен, стараясь поскорее быть подальше, чтобы убежать от преследований.

Я имел намерение посетить Новый свет, но судьба разрушила этот план: в Дюнкирхенской гавани не было ни одного корабля. Я отправился в Кале, чтобы отплыть немедленно, но с меня спросили цену, превышавшую весь мой капитал; при этом меня обнадежили, что в Остенде будет стоять дешевле, вследствие конкуренции. Прибыл я и туда, но капитаны оказались столь же несговорчивыми, как и в Кале. Обезнадеженный вполне, я впал в то отважно-отчаянное настроение, когда человек готов бывает охотно отжаться первому встречному. Не знаю, почему мне вообразилось, что я наткнулся на какого-нибудь добряка, который возьмет меня даром на корабль или, по крайней мере, сделает значительную уступку, благодаря моей привлекательной наружности и интересу, внушаемому молодостью. Пока я прогуливался, мечтая таким образом, ко мне подошел человек, ласковое обращение которого подтвердило мою химерную фантазию. Он прежде всего сделал мне несколько вопросов и из моих ответов узнал, что я иностранец, сам же он назвал себя корабельным маклером, и когда я ему открыл цель своего пребывания в Остенде, он стал предлагать мне свои услуги. «Ваша физиономия мне нравится. Я люблю открытые лица, в которых отражается искренность и веселость нрава. Хотите, я вам докажу это, доставивши почти даровой проезд?» Я поспешил высказать свою благодарность. «Что за благодарности! Когда дело будет сделано, тогда еще пожалуй; надеюсь, это будет

скоро, а до тех пор вы, вероятно, будете скучать здесь». Я отвечал, что действительно не нахожу особенных развлечений. «Не хотите ли отправиться со мной в Блакенберг, где мы отужинаем в обществе милейших господ, которые в восторге от французов?» Маклер так был любезен, приглашал так дружелюбно, что было бы невежливо отказаться. Итак, я согласился, и он привел меня в дом, где оказались прелюбезные дамы, принявшие меня с тем беззаветным гостеприимством древности, которое не ограничивалось только одним угощением. Вероятно, в полночь (говорю вероятно, потому что мы уже не считали часов), я почувствовал тяжесть в голове и ногах. Вокруг меня все двигалось и вертелось, так что, не замечая, чтобы меня раздевали, мне показалось, что я нахожусь в дезабилье рядом с одной из нимф. Может, это и действительно было так, знаю только то, что я заснул. Меня пробудило сильное ощущение холода. Вместо зеленых занавесок, мелькнувших передо мной как бы во сне, мои полузакрытые глаза видели лес мачт, а кругом раздавались крики, бывающие обыкновенно в приморских гаванях. Я хотел было приподняться и увидел, что лежу между корабельными снастями. Теперь ли я был в бреду или все вчерашнее было сном? Я ощупывал себя, дергал, и когда наконец был на ногах, то убедился, что не брежу и что вместе с тем не принадлежу к тем привилегированным существам, к которым счастье приходит во время сна. Я увидел себя полураздетым, и, исключая двух талеров, запрятанных в кармане исподнего платья, у меня не оказалось ни гроша. Тогда мне сделалось ясным, что действительно, по желанию маклера, *мое дело было скоро сделано*. Я был в неописанной ярости, но на ком искать? Я не мог бы даже указать места, где меня так ловко обчистили. Пришлось смириться и отправиться в гостиницу, где оставалось еще кой-какое платье, которое могло пополнить мой туалет. Мне незачем было сообщать хозяину о своем приключении: он, едва завидя меня издали, прямо встретил следующими словами: «Ай, ай, ай! Вот и еще один! Знаете ли, молодой человек, что вы еще счастливо отделались? У вас целы все члены, а это большое благополучие, когда выходят из подобного гнезда. Теперь вы имеете понятие о наших *musicos*. А каковы там сирены-то?.. Что делать, на то и щука в море, чтоб карась не дремал. Держу пари, что у вас нет более ни монетки». На эти слова я с гордостью показал ему свои два талера. «Ну, вы этим расплатитесь за продовольствие». И тотчас же он мне представил свой счет. Я заплатил и простился с ним, не покидая, однако, города.

Понятно, что путешествие в Америку было отложено в долгий ящик, и мне суждено было пресмыкаться на старом континенте; мне приходилось коснеть на самой низшей ступени цивилизации, и будущее тем более меня беспокоило, что у меня совсем не было средств в настоящем. У отца я всегда был бы сыт, потому являлось невольное сожаление о родительском крове; печь пекла бы и для меня хлебы, как для всех других, думал я. Вместе с этими сожалениями в уме моем мелькало множество моральных сентенций, которые старались укрепить во мне, приправляя их суеверием, как например: *не добром нажитое прахом пойдет; что посеешь, то и пожнешь*, и т. п.

В первый раз в жизни я осознал правду этих пророческих наставлений, никогда не утрачивающих своей логичности. Я был под влиянием раскаяния, весьма естественного в моем положении; я стал вычислять последствия моего побега и отягощающих его обстоятельств. Но такое настроение недолго продолжалось; мне не суждено было так скоро попасть на путь истинный. Передо мной открывалась карьера моряка, и я решил поступить на службу, рискуя за одиннадцать франков в месяц раз тридцать в день сломить себе шею, лазая на ванты корабля. Я уже готов был войти в эту новую роль, как вдруг внимание мое было привлечено звуком труб; то была не кавалерия, а паяц со своим чичероне, который, стоя пред балаганом, испещренным вывесками, созывал публику, никогда не устающую забавляться их глупыми шутками. Я пришел при самом начале, и пока довольно многочисленная толпа выражала свое удовольствие громким смехом, мне пришло в голову, что хозяин балагана может дать мне какую-нибудь должность. Паяц показался мне добрым малым, и я вздумал его избрать своим покровителем. Так как я знал, что предупредительность может быть весьма полезна в этом случае, то когда

паяц сошел со своих подмостков, я догадался, что он хочет выпить, и решился пожертвовать свой последний шиллинг, предложив ему выпить вместе кружку можжевелевой водки. Тронутый такой любезностью, он тотчас же обещал ходатайствовать за меня и тут же представил директору. Это был знаменитый Кот-Комус; он величал себя первым физиком в мире и для объезда провинций соединил свои таланты с натуралистом Гарнье, ученым наставником генерала Жакко, славившимся по всему Парижу прежде и после реставрации. Они содержали труппу акробатов. Когда я предстал пред Комусом, он прежде всего спросил меня, что я умею делать, и на мой отрицательный ответ добавил: «В таком случае поучим тебя; у нас есть и поглупее, а ты мне кажешься довольно смышленным; посмотрим, если у тебя есть способности, то я найму тебя на два года; первые шесть месяцев ты будешь хорошо кормлен и хорошо одет, затем ты будешь получать шестую часть сбора, а после я тебе положу то же самое, что и другим».

И вот я неожиданно попал на новую профессию. С рассветом дня нас разбудил мощный голос хозяина, который повел меня в какой-то чулан. «Вот твое дело, – сказал он, указывая мне на шкалики и деревянные жирандоли, – ты должен все это убрать и привести в надлежащий вид, слышишь ли? А после вычистишь клетки зверей и подметешь залу». Мне пришлось исполнять приказания не очень приятные, сало было мне противно, и я не совсем ловко себя чувствовал в обществе обезьян, которые, испугавшись моей незнакомой физиономии, делали невероятные усилия, чтобы выцарапать мне глаза. Покончивши все, я явился к директору, который сказал, что позаботится обо мне и что если я буду стараться, то что-нибудь из меня и сделает. Я работал с раннего утра и был голоден, как собака; пробило уже десять часов, а о завтраке не было и слуху, хотя при наших условиях положено мне было помещение и стол; я изнемогал от голода, когда мне принесли кусок пеклеванного хлеба, такого черствого, что при всем превосходстве моих зубов и алчности аппетита я не мог доесть его и большую часть выбросил зверям. Вечером я должен был заняться освещением, и так как, по недостатку навыка, не мог действовать при этом с достаточной быстротой, то хозяин сделал мне маленькое наказание, которое повторилось на следующий день и затем ежедневно. Не прошло и месяца, как я пришел в весьма плачевное состояние: мое платье, все в масляных пятнах и разодранное обезьянами, превратилось в лохмотья; насекомые меня поедом ели, от принудительной диеты я так исхудал, что меня нельзя было узнать. Тогда-то возобновились еще с большей горечью сожаления о родительском доме, где я был всегда хорошо накормлен и одет, спал на мягкой постели и не имел надобности возиться с обезьянами.

Таково было положение вещей, когда однажды утром Комус объявил мне, что по надлежащем размышлении о том, на что я более годен, он пришел к убеждению, что из меня выйдет отличный *скакун*. При этом он передал меня на руки г-ну Бальмату, называвшемуся почему-то *чертенком*, которому вменено было в обязанность выдрессировать меня надлежащим образом. При первом же уроке этот достойный наставник едва не сломал мне спины, а я должен был брать два и три урока в день. Недели через три я в совершенстве выделявал скачки на брюхе, изображал, как прыгает обезьяна, трус, пьяница и т. п. Восхищенный моими успехами, профессор старался их еще более ускорить... Я постоянно опасался что из желания развить мой талант он повывихнет мне руки и ноги. Наконец мы дошли до трудностей искусства, и становилось час от часу не легче. При первой попытке сделать большой прыжок я думал, что разорвал себя пополам; в другой раз разбил себе нос. Изломанный и искалеченный, я получил окончательное отвращение от столь опасной гимнастики и решил объявить г. Комусу, что положительно не намерен быть скакуном. «А, ты не намерен!» – произнес он и, ничего не возражая, порядком отдул меня хлыстом. С тех пор Бальмат перестал со мной заниматься, и я вернулся к своим шкаликам. Итак, г. Комус отступился от меня, и очередь была за г. Гарнье создать мне профессию. Раз поколотивши меня более обыкновенного (г. Гарнье разделял это удовольствие вместе с г. Комусом), он окинул меня с головы до ног и, видимо довольный

убавлением моего дородства, произнес: «Я доволен тобой; теперь ты именно такой, каким я желал тебя иметь, и если ты захочешь постараться, то от тебя самого зависит твое счастье; с нынешнего дня ты должен отращивать ногти; волосы твои и так довольно длинны, ты почти нагой, а отвар ореховых листьев довершит остальное». Я совсем не понимал, что хотел сказать этим г. Гарнье. Он же позвал моего друга паяца и велел ему принести тигровую кожу и дубину. Паяц исполнил приказание. «Теперь, – продолжал Гарнье, – мы сделаем репетицию. Ты будешь молодым дикарем с южных морей и вдобавок людоедом; ты ешь сырое мясо, приходишь в ярость при виде крови, при нужде можешь жевать кремень; можешь только испускать резкие, пронзительные звуки, глядишь вытараща глаза, все движения твои нервны, ты иначе не умеешь ходить, как прыжками и скачками; словом, бери пример с лесного человека, который перед тобою в № 1-м». Во время этой речи передо мной поставили целую миску с маленькими камешками, отлично закругленными, и принесли петуха, которому весьма хотелось освободить свои связанные ноги. Гарнье взял его и, подавая мне, произнес: «Вот, возьми его и ешь». На мое несогласие он принялся грозить; я не слушался и просил немедленного расчета. Вместо ответа мне влетело с дюжину пощечин. Гарнье охулки на руку не положил при этом. Раздраженный подобным обращением, я взял дубину и непременно уколошил бы почтенного натуралиста, если бы вся трупца не бросилась на меня, выталкивая за дверь градом пинков и кулаков.

С некоторого времени я сходил в одном кабаке с фигляром и его женой, показывавшими марионеток под открытым небом. Мы познакомились, и я видел, что они интересуются мной. Муж сильно жалел обо мне, как об осужденном на зверскую пытку. Иногда он в шутку сравнивал меня с Даниилом во львином рву. Видно было, что он начитан и годился на что-нибудь лучшее, чем драма полишинеля; впоследствии он и действительно держал провинциальную труппу. Умолчу об его умении. Будущий антрепренер был очень умен, но его супруга не замечала этого; вместе с тем он был довольно безобразен, что она хорошо видела. Что касается до нее самой, то это была одна из тех пикантных брюнеток с длинными ресницами, сердца которых в высшей степени склонны воспламеняться хотя бы самой скоротечной вспышкой. Я был молод, и она тоже; ей не было еще и шестнадцати лет, тогда как мужу было тридцать пять.

Оставшись без места, я прямо отправился к этой чете с целью попросить у них доброго совета. Они угостили меня обедом и поздравили с геройским освобождением от деспотического ига Гарнье, которого они называли жожаком. «Так как ты теперь свободен, – сказал мне фигляр, – то отправляйся с нами, ты будешь нам помогать; когда нас будет трое, то, по крайней мере, не будет антрактов; ты будешь расставлять марионеток, пока жена будет вертеть рукоятку органа; непрестанно занятая публика не станет расходиться, и сбору будет больше. Как ты думаешь, Элиза?» Элиза отвечала, что пусть он делает, как знает, что она вполне с ним согласна; и в то же время она бросила на меня взгляд, красноречиво говоривший, что предложение пришлось ей по душе и что мы отлично пойдем друг друга. Я с благодарностью согласился на это новое занятие и при первом же представлении занял свой пост. Условия были несравненно благоприятнее, нежели у Гарнье. Элиза, несмотря на мою худобу, нашла, что я не так дурно сложен, как одет, тайком делала мне тысячи любезностей, на которые я без сомнения отвечал тем же. Через три дня она мне созналась в своей страсти, и я не остался неблагоприятным. Мы были счастливы и не разлучались более. Дома мы только и делали, что хохотали, шутили, заигрывали друг с другом. Муж Элизы смотрел на все это как на ребячество; при отправлении должности нам приходилось быть бок о бок в узкой палатке, устроенной из четырех холстинных лоскутков и носящей громкое имя *Увеселительного театра разнообразных представлений*. Элиза стояла по правую сторону мужа, а я возле нее, когда она отлучалась, я заменял ее для наблюдения за входящими и выходящими. В одно памятное воскресенье представление шло во всем разгаре, и вокруг балагана стояла большая толпа. Полишинель всех переколотил. Не зная, что делать с одной из кукол (то был караульный), хозяин решил отложить его в сторону и кричит нам подать ему *комиссара*; мы не слышим. «*Комиссара, комиссара!*» – кричит

он нетерпеливо и вдруг, оборотившись, застаёт нас обнимающимися. Сконфуженная Элиза старается оправдаться, а муж, не слушая, снова кричит: «*Комиссара!*» – и в то же время пускает ей прямо в глаз крюком, на котором вешали караульного. Кровь брызнула, представление прерывается, супруги вступают в драку, причем палатка опрокидывается, и мы остаемся прямо на виду пред многочисленным сборищем зрителей, у которых этот неожиданный спектакль возбуждает громкий хохот и залп продолжительных рукоплесканий.

Этот скандал снова лишил меня пристанища, и я не знал, куда приклонить голову. Если бы у меня была хоть приличная одежда, я еще мог бы поступить в какой-нибудь порядочный дом; но я был такой ободраный, что никто не пожелал бы меня принять. В таком положении оставалось только одно, – вернуться снова на родину; но вопрос: чем прожить до тех пор? Когда я стоял в раздумьи, мимо меня прошел человек, которого по костюму можно было принять за разносчика; я завязал с ним разговор, и он сообщил мне, что отправляется в Лилль, а торгует опиумом, эликсирами и различными порошками; также срезает мозоли, а иногда даже пускается в дерганье зубов.

– Это хорошее ремесло, но я становлюсь стар, и мне не мешало бы иметь кого-нибудь на подмогу, чтобы носить мешок. Мне именно нужен такой молодец, как ты: здоровые ноги, верный глаз. Если ты хочешь, отправимся вместе.

– Охотно, – отвечал я, и, не делая более никаких условий, мы продолжали путь.

После восьми часов ходьбы наступила ночь, так что мы едва могли разглядеть дорогу, пока наконец остановились пред жалкой деревенской гостиницей. «Вот здесь», – сказал кочующий врач, стуча в дверь.

– Кто там? – окликнул грубый голос.

– Отец Годар, – отвечал мой компаньон; дверь немедленно отворилась, и мы очутились среди различных разносчиков, лудильщиков, паяцев, фокусников и т. п., которые приветствовали моего нового хозяина и поставили ему прибор. Я думал, что и мне окажут ту же честь, и уже намеревался присесть за стол, когда хозяин гостиницы, фамильярно ударив меня по плечу, спросил, не гаер ли я отца Годара.

– Что разумеете вы под этим словом? – воскликнул я с удивлением.

– Паяц, конечно, – отвечали мне.

Признаюсь, что, несмотря на свежее воспоминание о зверинце и театре марионеток, мне показалась унижительной такая кличка; но мучимый страшным голодом, рассчитывая на то, что результатом допроса будет ужин, и зная притом, что условия наши с отцом Годаром не были достаточно выяснены, я решился выдать себя за гаера. Действительно, тотчас после ответа хозяин повел меня в соседний покой, где веселая компания курила, пила и играла в карты, и сказал, что мне подадут ужин. Вскоре дебелая служанка принесла мне миску, на которую я накинудся с жадностью. В супе плавал бараний бок и несколько брюкв, что я и истребил в мгновение ока. После этого мне оставалось растянуться, наподобие других гаеров, на связках соломы, в сообществе верблюда, медведей, освобожденных от намордников, и своры ученых собак. Такое соседство было небезопасно, но приходилось примириться и с этим, хотя я все-таки не мог заснуть; все другие спали блаженным сном.

Таким образом, я стал жить на иждивении отца Годара, и как ни были плохи помещения и продовольствие, я не желал с ним расстаться, так как приближался к Аррасу. Наконец в один из рыночных дней мы прибыли в Лилль. Отец Годар, не теряя времени, прямо пошел на площадь, велел мне разложить столик, ящички, скляночки, пакетики и предложил созывать покупателей. Этого только недоставало! Я хорошо позавтракал, и такое предложение взбесило меня: мало того, что я тащил, как вол, его багаж от Остенде до Лилля, не угодно ли теперь в двух шагах от Арраса выставляться напоказ! Я послал отца Годара ко всем чертям и тотчас же направился к родному городу, колокольня которого не замедлила показаться. Достигнув городского вала ранее сумерек, я приостановился, содрогаясь при мысли о предстоящем

свидании; я даже думал было вернуться назад, но был не в силах от усталости и голода; мне необходимо было поесть и успокоиться; не колеблясь более, я побежал в родительский дом. Мать одна была в булочной. Я вошел, бросился на колени и со слезами просил прощения. Бедная женщина, почти не узнавшая своего сына, так я изменился, была очень растрогана: она не имела силы оттолкнуть меня и даже как бы забыла все старое. Удовлетворивши моему голоду, она поместила меня в моей прежней комнате. Между тем необходимо было предупредить отца о моем возвращении, а она не имела духу выдержать первый взрыв его гнева. Один из друзей, священник анжуйского полка, взялся уговорить отца, который после сильной вспышки согласился, однако, простить меня. Я страшился его непреклонности, и когда услышал о прощении, то прыгал от радости. Священник сообщил мне эту новость, сопровождая ее наставлением, по всей вероятности, весьма убедительным и трогательным, но я не помню из него ни слова; помню только, что он привел притчу о блудном сыне, – то была почти моя собственная история.

Приключения мои наделали много шума в городе; каждый желал их услышать от меня самого; но никто не интересовался ими так, как одна актриса и две модистки, которых я весьма часто посещал. Впрочем, актриса вскоре сделалась единственным предметом моих ухаживаний; завязалась интрига, в которой, под видом молодой девушки, я повторил перед своей возлюбленной некоторые сцены из Фоблаза. Побег с ней в Лилль, ее муж и хорошенькая горничная, выдававшая меня за свою сестру, показали отцу, как я скоро забыл все напасти моего первого похождения. Отсутствие мое было, впрочем, недолгим: по истечении каких-нибудь трех недель, по недостатку денег, моя возлюбленная отказалась таскать меня вместе со своим багажом. Я спокойно вернулся к домашнему очагу, и отец был окончательно сбит с толку апломбом, с которым я просил его согласия поступить на службу. Ему ничего не оставалось более, как согласиться; он понял это, и на другой же день на мне был мундир бурбонского полка. Моя осанка, бодрый вид, умение ловко владеть оружием доставили мне привилегию быть немедленно зачисленным в число егерей. Я ранил двух старых слуг, вздумавших обидеться на мое назначение, и вскоре сам последовал за ними в госпиталь, будучи ранен их приятелем. Такое начало выставило меня на вид; многие находили удовольствие в том, чтобы наталкивать меня на ссоры, так что в полгода я успел убить двух человек и раз пятнадцать дрался на дуэлях. Я вполне наслаждался счастьем, доставляемым гарнизонной жизнью; караул за меня всегда нанимали добрые купцы, дочери которых наперебой старались угождать мне. Мать не забывала делать свои приношения. К этим щедротам отец, со своей стороны, назначил прибавку к моему окладу, и я находил еще возможность делать долги. Таким образом, я находился в самом блестящем положении и почти не чувствовал дисциплины. Раз меня засадили на две недели в тюрьму за то, что я не явился на три переклички. Я сидел вместе с одним из моих друзей и соотечественников, служившим в нашем же полку и обвиненном в нескольких кражах, в которых он сам сознался. Он мне тотчас же сообщил причину своего ареста. Не могло быть сомнения, что полк не вступится за него; эта мысль и боязнь обесчестить семью приводили его в отчаянье. Мне было жаль его, и, не видя никакого исхода из его бедственного положения, я посоветовал ему избегнуть наказания побегом или самоубийством. Он решился попытаться первое, прежде чем прибегнуть ко второму; я же вместе с одним молодым человеком, приходившим меня навещать, поспешил все приготовить к его побегу. В полночь были сломаны два железных запора; мы вывели товарища на вал, и я сказал ему: *«Ну, надо прыгнуть или быть повешенным»*. Он соображает высоту, колеблется и наконец заявляет, что готов скорее подвергнуться приговору суда, нежели переломать себе ноги. Он уже намеревался вернуться обратно, когда мы, совершенно для него неожиданно, столкнули его вниз; он кричит, я заставляю его молчать и возвращаюсь в свое подземелье, где наслаждаюсь мыслию, что сделал доброе дело. На другой день заметили его исчезновение, спрашивали меня, но я отделался ответом, что ничего не видел. Много лет спустя я встретился с этим несчастным, который называл меня своим освободителем. От падения он хромал, но сделался честным человеком.

Я не мог всегда оставаться в Аррасе: была объявлена война с Австрией, я отправился со своим полком и вскоре присутствовал при поражении Маркена, закончившемся в Лилле умерщвлением храброго и несчастного генерала Диллона. Затем мы пошли на лагерь Мольда, а после на лагерь Луны, где под начальством Келлермана выдержали стычку с пруссаками 20 октября. На другой день после этого сражения я был назначен капралом гренадеров; пришлось spryskivatsya галуны, что я и исполнил с большим шиком в шинке; но не знаю, каким образом между мною и унтер-офицером роты, из которой я выходил, завязалась ссора; сделанный мною вызов был принят; но когда дошло до самого дела, то противник мой нашел, что разница в чине не позволяла ему драться со мною. Я стал его принуждать насильно, он пожаловался, и в тот же вечер меня посадили под арест вместе с моим секундантом. Через два дня мы узнали, что нас положено судить военным судом. Приходилось бежать, что мы и сделали. Мой товарищ в куртке, фуражке и под видом солдата, подвергнувшегося наказанию, шел передо мною; я остался в своем медвежьей шапке, с мешком и ружьем, на котором висел широкий пакет, запечатанный красным сургучом, с надписью: «Гражданину коменданту крепости Витри-ле-Франс». Это был наш паспорт, дававший нам возможность беспрепятственно добраться до Витри, где один жид доставил нам мещанский костюм. В то время стены каждого города были увешаны воззваниями к французам лететь на защиту отчизны; поэтому вербовали кого ни попаало. Вахмистр егерей принял наш паспорт; нам дали письменный маршрут, и мы тотчас же отправились в Филиппвиль.

У нас с товарищем очень мало было денег; к счастью, в Шалоне нам представилась неожиданная находка. В одной гостинице с нами жил солдат Божоле. Он пригласил нас вместе выпить. Это был честный пикардиец; мы объяснились на родном его наречии, и незаметно, со стаканами в руках, между нами установилась такая задушевность, что он показал нам портфель с ассигнациями, говоря, что нашел их в окрестностях Шато-Аббе. «Приятель, – сказал он, – я не умею читать, и если вы мне расскажете значение этих бумаг, я поделюсь с вами». Он в нас не ошибся: по количеству мы ему отделили львиную долю, но он и не подозревал, что в свою пользу мы удержали девять десятых всей суммы. Это маленькое вспоможение пришло весьма кстати, и наша короткая поездка закончилась весьма веселым образом. По достижении назначения у нас еще были довольно туго набиты карманы. Вскоре мы достаточно изошрились в верховой езде и были отправлены в военные эскадроны. Через два дня по нашем прибытии туда произошла битва при Жемане. Я не в первый раз был под огнем и не чувствовал страха; смею даже думать, что поведение мое заслужило бы благосклонность начальства, как вдруг капитан наш объявил мне, что, отмеченный в числе дезертиров, я неизбежно буду арестован. Опасность была неминуема; в тот же вечер я оседлал лошадь, чтобы перейти к австрийцам; в несколько минут я достиг их аванпостов, попросился на службу, и меня записали в кирасиры. Меня более всего страшила необходимость схватки с французами, и я постарался избежать ее. Притворившись больным, я провел несколько дней в госпитале, после чего предложил давать уроки фехтованья гарнизонным офицерам. Они с удовольствием согласились и тотчас же вручили мне маски, перчатки, рапиры. Я померялся с двумя немецкими лучшими фехтовальщиками, одержал верх и тем внушил высокое мнение о моем искусстве. Вскоре я приобрел множество учеников и загребал изрядные денежки.

Я гордился своими успехами, как вдруг однажды, вследствие крупной ссоры с дежурным бригадиром, меня приговорили к двадцати ударам, которые, по обычаю, отсчитывали на параде. Это привело меня в ярость, и я отказался давать уроки. Мне было приказано продолжать их по-прежнему, под угрозой вторичного наказания. Я без сомнения предпочел продолжать уроки; но понесенное посрамление залегло на душе, и я решился во что бы то ни стало избавиться. Узнавши, что один лейтенант отправлялся в главную армию, к генералу Шредеру, я просил его взять меня с собой в качестве денщика; он согласился, надеясь найти во мне преданного человека, но ошибся в расчетах: при приближении к Кенуа я бежал от него и напра-

вился в Ландреси, где выдал себя за бельгийца, оставившего прусские знамена. Мне предложили вступить в кавалерию; страхась быть узанным и расстрелянным, если бы случилось столкнуться с прежним полком, я предпочел 14-й легкий. Армия Сабре и Мезе выступала тогда на Экс-ла-Шапель; рота, к которой я принадлежал, получила повеление следовать за ней. Мы отправились, и по вступлении в Рокруа сошлись с 11-м егерским полком. Я считал себя окончательно погибшим; но старый мой капитан, свидания с которым я не мог избежать, поспешил меня разуверить: он сказал, что амнистия избавила меня от всякого преследования и что он с удовольствием снова готов принять меня под свое начальство. Я отвечал, что сам рад бы был этому; он взялся устроить дело, и я был снова помещен в 11-й полк. Старые приятели приняли меня весьма дружелюбно; я не менее того был рад свидеться с ними и был бы вполне счастлив, если бы любовь, также немало содействующая этому счастью, не вздумала разыграть со мною одну из своих проказ. Читатель не удивится, конечно, что в семнадцать лет я покорию сердце экономки одного старого холостяка. Ее звали м-ль Манон; она была почти вдвое старше меня и потому страстно меня полюбила; она способна была на всякие жертвы; ничего не жалела для меня и, находя меня красивейшим из егерей, желала еще, чтобы я был хорошо одет. Она подарила мне часы, и я с тщеславием молодости украшался кое-какими драгоценными вещами, служившими залогом внушаемой мною привязанности. Вдруг я узнаю, что Манон обвиняется хозяином в домашнем воровстве. Она созналась в своем преступлении и вместе с тем, страхась, что после ее осуждения я перейду в руки другой женщины, назвала меня сообщником и даже показала, будто я помогал ей. Во всем этом было много вероятного; я был замешан в преступлении и весьма бы затруднялся оправдаться, если бы случай не помог найти несколько писем, из которых вполне выяснялась моя невинность. Сконфуженная Манон отеклась от своей клеветы, и я вышел белее снега из тюрьмы Стеней. Капитан, считавший и прежде меня невиновным, был очень рад моему возвращению, но товарищи не хотели простить мне того, что я был заподозрен, и в десять дней у меня было, по крайней мере, десять дуэлей за их различные намеки и колкости. Наконец, жестоко раненный, я попал в госпиталь, где пробыл более месяца. Начальство, предвидя, что ссоры не замедлят возобновиться, если я не удалюсь куда-нибудь на время, дало мне отпуск на шесть недель. Я отправился в Аррас, где с большим удивлением нашел отца, занимающего общественную должность: как бывшему булочнику ему поручено было смотреть за провиантными магазинами, где он не должен был допускать расхищения хлеба. Во время голода исполнение подобной обязанности, хотя он служил и безвозмездно, сопряжено было с большими опасностями и, по всей вероятности, привело бы отца моего на гильотину, если бы не покровительство гражданина Суама<sup>2</sup>, начальника 2-го батальона.

По окончании отпуска я отправился в Живе, откуда полк вскоре командировали в графство Намур. Нас разместили по квартирам в деревеньках по берегам Мааса; а так как австрийцы были на виду, то не проходило дня без какой-либо стычки; одною из них, более серьезной, мы были отодвинуты к Живе, и при отступлении я был ранен в ногу, вследствие чего пролежал в госпитале, а затем остался при резерве. Около этого времени проходил *германский легион*, состоявшей главным образом из дезертиров, фехтмейстеров и проч. Один из главных начальников предложил мне вступить в их отряд с чином вахмистра. «Коль скоро вы будете у нас при должности, – сказал он, – то будете совершенно ограждены от всяких преследований». Уверенность в безопасности, вместе с воспоминаниями о неприятных последствиях интимности с Манон, заставили меня решиться: я принял предложение и на другой день был уже на дороге к Фландрии. Без сомнения, служба в этом отряде, где быстро можно было повышаться, я был бы офицером; но рана моя открылась со столь опасными признаками, что пришлось снова проситься в отпуск. Через шесть дней я прибыл в Аррас.

<sup>2</sup> Бывшего впоследствии генерал-лейтенантом. (прим. авт.)

## Глава вторая

*Иосиф Лебон. – Казнь на гильотине. – Гражданка Лебон и ее воззвание к санкюлотам. – Новые любовные интриги. – Мое заключение и освобождение. – Сестра моего освободителя. – Я произведен в офицеры. Завоевание обеда с помощью барабанного концерта. – Ночное посещение влюбленной старухи. – Революционная армия. – Отнятие судна у австрийцев. – Вероломство моей невесты. – Ложная беременность и моя женитьба. – Измена жены.*

При вступлении в город я был поражен впечатлением уныния и ужаса на всех встречавшихся физиономиях; на мой вопрос о причине на меня смотрели недоверчиво и отходили молча. Что такое необыкновенное могло произойти? Едва пробираясь сквозь толпу, сновавшую по мрачным и кривым улицам, я скоро достиг площади Рыбного рынка. Первое, бросившееся мне в глаза, была гильотина, грозно возвышавшаяся над безмолвной толпой. Перед ней был старик, которого привязывали к роковой доске. Вдруг раздались трубные звуки. На эстраде, занятой оркестром, сидел молодой человек в фуфайке с черными и голубыми полосками; осанка его скорее напоминала монашеские привычки, а не военные, а между тем он небрежно оперся на кавалерийскую саблю, громадный эфес которой изображал шапку свободы; ряд пистолетов украшал его пояс, а на шляпе его, надетой на испанский манер, развевалось трехцветное перо. То был Иосиф Лебон. В данную минуту его гнусная физиономия оживилась ужасной улыбкой; он перестал бить такт своей левой ногой, трубы замолкли, и по его мановению старик был положен под нож. Тогда перед *Мстителем за народ* предстала личность, нечто вроде полупьяного актуариуса, которая хриплым голосом прочла приговор рейномозельской армии. При каждом параграфе оркестр брал аккорд, а по окончании голова несчастной жертвы упала при криках «Да здравствует республика!», повторяемых соучастниками свирепого Лебона.

Не могу выразить впечатления, произведенного на меня этой ужасной сценой. Я пришел к отцу почти в таком же потрясающем состоянии, как тот несчастный, чья продолжительная агония была сейчас перед моими глазами. Я узнал, что казненный был г. Монгон, прежний комендант крепости, осужденный за аристократизм. Несколько дней тому назад на том же месте казнили г. Вие-Пон, все преступление которого заключалось в том, что у него был попугай, крики которого показались похожими на восклицание: «Да здравствует король!» Попугаю грозила одинаковая участь с его господином, но он был пощажён только благодаря заступничеству гражданки Лебон, которая обязалась обратить его на путь истинный. Гражданка Лебон была монахиней аббатства Вивье. В этом отношении, равно как и во многих других, она была достойной супругой бывшего невилльского священника. Она имела большое влияние на членов комиссии Арраса, где заседали в качестве судей и присяжных ее шурины и трое дядей. Бывшая монахиня столько же жадна была до золота, как и до крови. Раз во время спектакля она решила произнести в партере следующую тираду: «А что, санкюлоты, пожалуй, скажут, что гильотина не для вас! Что же вы зеваете! Нужно искать и выдавать врагов отчизны. Если вы откроете какого-нибудь дворянина, богача, купца, аристократа, донесите на него и получите его деньги». Злодейство этого чудовища равнялось только злодейству ее мужа, предавшегося всевозможным излишествам. Часто после какой-нибудь оргии он бегал по городу, обращаясь с непристойными шутками к проходящим, потрясая саблей над головой и стреляя из пистолета над ушами женщин и детей.

Его обыкновенно сопровождала, и нередко даже под ручку, старая торговка яблоками, в красном чепце, с рукавами, засученными до самых плеч, и с длинной ореховой палкой в руках. Эта женщина, прозванная мать Дюшен, подобно знаменитому отцу Дюшену, на многих

демократических празднествах изображала богиню свободы. Она аккуратно посещала заседания комиссии и, так сказать, подогревала ее приговоры своими обвинениями и бранью. По ее милости опустела целая улица, жители которой все погибли на гильотине.

Я часто спрашиваю себя, каким образом при плачевных, ужасных событиях страсть к удовольствиям и развлечениям остается во всей силе? Аррас доставлял мне те же развлечения, как и прежде. Девицы там были так же доступны, в чем легко было убедиться, потому что в течение нескольких дней я значительно успел в своих любовных интригах, начиная с молодой и хорошенькой Констанции, единственной отрасли капрала Латюлин, шинкаря крепости, до четырех дочерей нотариуса, имевшего контору на углу Капуцинской улицы. Все было бы отлично, если бы я ограничился этим, но я вздумал обратить свои взоры на красавицу с улицы Правосудия и не замедлил встретить на своем пути соперника. Это был старый полковой музыкант, который, не хвастаясь своими успехами, давал, однако, понять, что ему ни в чем не отказывали. Я обозвал его хвастунишкой, он рассердился, я вызвал его на дуэль, на что он и внимания не обратил. Наша ссора уже совсем была забыта, как вдруг я узнаю, что он распускал про меня оскорбительные слухи. Я прямо обратился к нему за разъяснением, но тщетно; он до тех пор не соглашался на поединок, пока я не дал ему пощечины при свидетелях. Свидание назначено было на следующее утро. Я хотел явиться аккуратно к назначенному времени, но едва достиг места поединка, как был окружен отрядом жандармов и муниципальных чиновников, которые овладели моей саблей и велели следовать за собою. Я повиновался и вскоре очутился в Бодэ, назначение которого очень изменилось с тех пор, как террористы подчинили жителей Арраса своим порядкам. Привратник Бопре, в красном колпаке, сопровождаемый неотлучно двумя огромными черными псами, отвел меня в обширное помещение, где содержались под его надзором лучшие из местных жителей. Лишенные всяких сношений с внешним миром, мы едва могли питаться, да и то пища проходила сквозь настрожайший осмотр Бопре, который простирали осторожность до такой степени, что опускал в суп свои страшно грязные руки, чтобы удостовериться, нет ли там какого оружия или ключа. Если кто осмеливался роптать, ему говорили:

– Ты что-то взыскателен, а между тем много ли времени тебе остается жить на свете? Как знать, не завтра ли твоя очередь? Как зовут-то тебя?

– Так-то.

– Ну так и есть, что завтра.

Подобным предсказаниям Бопре тем легче было сбываться, что он сам назначал жертвы Лебону, который после обеда обыкновенно обращался к нему с вопросом: «Кого мы завтра отправим?»

В числе дворян, заключенных с нами, находился граф Бетун. Когда за ним пришли, чтобы вести его на суд, Бопре резко сказал ему:

– Гражданин Бетун, так как ты отправляешься *туда*, то передашь мне все, что у тебя останется здесь?

– Охотно, господин Бопре, – спокойно отвечал старик.

– Господ нет более, – насмешливо заметил презренный тюремщик, – мы все граждане, – и из двери он опять закричал ему: – Прощайте, гражданин Бетун!

Однако же Бетун был только оставлен в подозрении и приведен снова в тюрьму. Его возвращение чрезвычайно нас обрадовало. Мы уже считали его спасенным, как вдруг вечером он опять был призван. Оправдательный приговор был произнесен в отсутствие Иосифа Лебона. Вернувшись из деревни и узнав, что из его рук ускользнула жизнь столь честного человека, он немедленно приказал собраться членам комиссии. Следствием этого было то, что старик был казнен при свете факелов.

Это происшествие, которое нам Бопре передал со свирепым злорадством, возбудило во мне сильное беспокойство. Ежедневно водили на казнь людей, столь же мало, как и я, знавших

о причине их ареста, и занятие и общественное положение которых исключало возможность заподозреть их в политических замыслах. С другой стороны, Бопре, весьма точный относительно количества, мало заботился о качестве виновных. Случалось даже, что, не имея под руками названных в приговоре личностей, он посылал первых попавшихся, стараясь только о том, чтобы служба не терпела упущений. Таким образом, я ежечасно мог попасть под руку Бопре, а подобное ожидание не имело в себе ничего успокоительного.

Уже прошло две недели со времени моего заключения, когда нам объявили о визите Лебона. Его сопровождала жена и главные террористы края, между которыми я узнал старого отцовского парикмахера и чистильщика колодцев Дельмота. Я просил их замолвить словечко в мою пользу; они обещали, и я мог тем более надеяться, что оба они пользовались большим влиянием.

Иосиф Лебон пробежал зал, свирепо обращаясь к заключенным с различными страшными допросами, видимо стараясь их запугать. Наконец, подойдя ко мне, он пристально посмотрел на меня и сказал, отчасти грубо, отчасти насмешливо: «А, а, это ты, Франсуа! Ты намереваешься разыгрывать аристократа и дурно отзываешься о республиканцах... Ты жалеешь о своем старом бурбонском полке... Берегись... я могу тебя отправить распоряжаться гильотиной. Кстати, пришли мне свою мать». Я сказал, что, находясь в секретном отделении, не могу с ней видеться. На это Лебон обратился к Бопре со следующими словами: «Бопре, ты введешь г-жу Видок». И он вышел, оставляя меня с надеждой в душе, судя по особенно любезному обхождению со мной. Через два часа после того пришла моя мать. Она открыла мне, чего я еще не знал, – что доносчиком моим был музыкант, вызванный мною на дуэль. Донос был в руках ярого якобинца, террориста Шевалье, который, из дружбы к моему противнику, конечно, не пощадил бы меня, если бы сестра его, тронувшись слезными мольбами моей матери, не упростила его ходатайствовать о моем освобождении.

По выходе из тюрьмы я был торжественно приведен в патриотическое общество, где меня заставили поклясться в верности республике, в ненависти к тиранам. Я поклялся во всем. На какие жертвы человек ни решится для сохранения своей свободы!

По окончании этих формальностей я снова был возвращен в резерв, где товарищи встретили меня с большой радостью. Было бы неблагодарностью с моей стороны не считать Шевалье моим освободителем. Я пошел его благодарить и старался высказать его сестре, как признательно отношусь за ее внимание к бедному узнику. Эта женщина, страстнейшая из всех брюнеток, но черные очи которой не могли вознаградить некрасивую наружность, вообразила, что я в нее влюблен; она приняла буквально несколько сделанных мною комплиментов и с первого же свидания так ошиблась насчет моих чувств, что остановила на мне свой выбор. Зашел разговор о нашем соединении; обратились к моим родителям, которые отвечали, что в восемнадцать лет слишком рано жениться, и дело было отложено в дальний ящик. Между тем в Аррасе были организованы реквизиционные батальоны. Пользуясь репутацией отличного преподавателя, я назначен был с семью другими унтер-офицерами обучать 2-й батальон Па-де-Кале; в числе их был гренадерский капрал лангедокского полка по имени Цезарь, впоследствии полевой сторож в Коломбе или Пюто, близ Парижа; он назначен был полковым адъютантом. Я же был произведен в чин подпоручика по прибытии в Сен-Сильвестр-Капеллу, где мы расположились квартирами: Цезарь был фехтмейстером в своем полку, а мои подвиги с гусарами читатель, вероятно, помнит. Мы порешили, кроме теории, преподавать батальонным офицерам фехтованье. Хотя наши уроки доставляли кое-какие деньги, но их далеко не хватало на потребности, или, лучше сказать, на все наши фантазии. Особенно чувствовался недостаток в съестных припасах, и скудость нашего питания была еще более ощутительна потому, что мэр, у которого мы с товарищем квартировали, имел у себя превосходный стол. Тщетно пытались мы втереться в дом: старая экономка, Сикса, отстраняла нашу услужливость и разрушала наши гастрономические планы; мы оставались голодными и обезнадеженными.

Наконец Цезарь открыл секрет, каким образом разрушить непреодолимое очарование, отделявшее нас от вкусного обеда муниципального офицера. По наущению моего изобретательного сотоварища, в одно прекрасное утро пред окнами ратуши тамбурмажор вдруг принялся выбивать зорю; можете себе представить эту оглушительную трескотню. Старая мегера не замедлила обратиться к нашему посредничеству для прекращения содома. Цезарь ласкательным тоном обещал употребить со своей стороны все возможное, чтобы это не повторялось более, а сам побежал сказать, чтобы завтра не преминули сделать то же; и на следующее утро отчаянный бой барабана, казалось, намерен был разбудить всех мертвецов с соседнего кладбища. В довершение всего Цезарь послал тамбурмажора упражняться за нашим домом над обучением своих учеников. Кто бы выдержал такую пытку? И старуха сдалась, любезно пригласив нас к себе; но этого было мало; барабаны продолжали свой концерт до тех пор, пока их почтенный глава вместе с нами не был принят за муниципальную трапезу. С тех пор в Сен-Сильвестр-Капелле не слышать было барабанов, исключая тех случаев, когда проходили войска, и все жили в мире, кроме меня, которому начала угрожать устрашающая благосклонность старухи. Эта несчастная страсть привела к происшествию, о котором, вероятно, еще помнят в стороне, где оно наделало так много шума.

Был праздник в деревне: пели, танцевали, а особенно пили, как и водится, и я наугостился так ловко, что меня отнесли домой и уложили в постель. На другой день я проснулся до рассвета. Как и всегда после попойки, голова была тяжела, во рту нагорело, желудок находился в раздраженном состоянии. С намерением напиться я приподнимаюсь и вдруг чувствую, что шею мою обхватила рука, холодная, как колодезный канат. При отуманенной голове, не зная, на что подумать, я неистово закричал. Мэр, спавший в соседней комнате, прибегает вместе с братом и слугою, вооруженные палками. Цезарь еще не возвращался. Некоторая доза размышления позволила мне уже догадаться, что ночной посетитель был не кто иной, как Сикса; но, притворяясь испуганным, я сказал, что кто-то улегся со мной. Тогда непрошеного призрака начинают угощать палкой, и Сикса, видя, что дело плохо, закричала: «Что вы, что вы, господа! Не бейте, это я, Сикса; в бреду я зашла к г. офицеру». И она высунула свою голову, что было весьма благоразумно, потому что, хотя по голосу ее и узнали, но суеверные фламандцы, очевидно, не прекратили бы потасовки. Я сказал уже, что происшествие, олицетворившее некоторые сцены из романов «Мой дядя Фома» и «Бароны Фельсгеймы», наделало шуму и дошло до Касселя, которому я обязан многими удачами, между прочим, благосклонностью одной продавщицы в кафе-ресторане.

Мы уже стояли три месяца, когда дивизия получила повеление отправиться на Стенвард. Австрийцы сделали отвод, чтобы направиться на Поперинген, и второй батальон Па-де-Кале был поставлен на первом месте. На следующую ночь по нашем прибытии неприятель напал врасплох на наши аванпосты и проник в самую деревню Ла Белль, занимаемую нами. Мы наскоро выстроились в боевой порядок. При этой ночной схватке наши молодые рекруты выказали то понимание и ту деятельность, которые отличают только одних французов. Около шести часов утра эскадрон гусар Вурмзера вышел с левой стороны и начал перестрелку; в то же время следовавшая за ним колонна инфантерии встретила нас штыками; но уже после сильной схватки неравенство в числе заставило нас отступить к Стенварду, где находилась главная квартира.

По прибытии туда я получил поздравление от генерала Вандамма и билет в госпиталь Сент-Омера, потому что я получил две раны саблей, отбиваясь от австрийского гусара, который надсадился, кричавши мне: «Сдайся! Сдайся!»

Со всем тем раны мои были не особенно опасны, потому что через два месяца я мог присоединиться к батальону, находившемуся в Газебруке. Там я познакомился со странным корпусом, известным под именем *революционной армии*. Люди с пиками и красными шапками, составлявшие ее, повсюду носили с собой гильотину. Конвент не нашел лучшего внушающего

средства к укреплению верности в офицерах четырнадцати действующих армий, как показывать им орудие пытки, назначаемое изменникам. Я могу только сказать, что этот мрачный аппарат наводил неописанный ужас на местное население тех стран, где его провозили; не более того был он по сердцу солдатам, и мы зачастую ссорились с санкюлотами, которых звали гвардией корпуса гильотины. Я со своей стороны угостил пощечиной одного из их начальников, который вздумал найти предосудительным, что у меня золотые эполеты, тогда как по уставу надо было носить полотняные. За этот прекрасный подвиг я, конечно, дорого бы поплатился, если бы мне не дали средство достигнуть Касселя. Туда же прибыл наш отряд, который распустили, как и все реквизиционные батальоны; офицеры сделались простыми солдатами, и в этом чипе я был отправлен в 28-й батальон волонтеров, который составлял часть армии, назначенной выгнать австрийцев из Валансьена и Конде.

Батальон квартировал во Фресне. На ферму, где отведена была мне квартира, однажды приехало семейство судохозяина, состоящее из мужа, жены и двух детей, в числе которых была восемнадцатилетняя девушка, невольно обращавшая на себя внимание своей прелестной наружностью. Австрийцы отняли у них судно с овсом, составлявшим все их достояние, и эти бедные люди, оставшись только с тем, что на них было, не имели другого убежища, кроме этой фермы, принадлежавшей их родственнику. Их несчастное положение, а может быть, и красота девушки заставили меня принять в них участие. Отправившись на поиски, я увидел судно, которое неприятель опрастывал не вдруг, а по мере раздачи овса солдатам. Я предложил двенадцати товарищам отнять у австрийцев их добычу; они согласились, полковник дал свое позволение, и в одну дождливую ночь мы приблизились к лодке, не будучи замечены караульным, которого пятью ударами шашки отправили к праотцам. Жена судохозяина, пожелавшая непременно идти со мною, тотчас же побежала к мешку флоринов, который она спрятала в овсе, и дала мне его нести, Потом отвязали лодку, чтобы провести ее к тому месту, где у нас был укрепленный караул; но едва только она поплыла, как мы были встречены возгласом часового, спрятавшегося в камышах. При выстреле из ружья, сделанного им за вторым вопросом, соседний караул взялся за оружие; вмиг берег покрылся солдатами, осыпавшими лодку градом пуль. Пришлось ее оставить. Я и товарищи мои бросились в какую-то шлюпку и с ней причалили благополучно к берегу, но судохозяин, о котором в суматохе забыли, попал в руки австрийцев, не жалевших для него ни кулаков, ни палочных ударов. Жена же его вернулась с нами. Во всяком случае эта попытка стоила нам трех человек, и у меня самого оторвало пульей два пальца. Дельфина ухаживала за мной самым усердным образом. Мать ее поехала в Гент, куда отправили ее мужа в качестве военнопленного, а мы с Дельфиной прибыли в Лилль, где я начинал выздоравливать. Так как у Дельфины была часть денег, найденных в овсе, то мы могли вести довольно веселую жизнь. Стали мы подумывать о свадьбе, и дело так пошло на лад, что я уже отправился в Аррас за необходимыми бумагами и за благословением родителей. Дельфина же получила согласие своих, которые все еще оставались в Генте. За милю от Лилля я вдруг вспомнил, что забыл свой госпитальный билет, который мне необходимо было предъявить в муниципалитет. Пришлось вернуться назад. Приехав в гостиницу, подхожу к нашему номеру, стучусь, – никто не отвечает; между тем Дельфина не могла выйти из дому так рано: еще не было шести часов. Стучу еще; наконец она отворяет мне с распростертыми объятиями и протирая глаза, как человек, внезапно вскочивший со сна. Для испытания я предлагаю ей ехать вместе в Аррас, чтобы представить ее своим родителям; она спокойно соглашается. Мои подозрения почти рассеялись, но внутренний голос говорил мне, что она меня обманывает. Наконец я заметил, что она часто поглядывает на гардероб; я намереваюсь его отворить, но невинная девушка сопротивляется, выставляя один из тех предлогов, который всегда в распоряжении женщин. Я настаиваю, отворяю и нахожу под кучей грязного белья доктора, который меня лечил. Он был стар, безобразен и неопрятен: в первую минуту меня охватило чувство оскорбления ввиду подобного соперника; может быть, я пришел бы в бешенство, если бы

то был красивый мужчина; предоставляю судить об этом тем, кто сам находился в подобном положении. Я было хотел укокошить счастливого эскулапа, но благоразумие, посещавшее меня довольно редко, остановило меня. Мы были в разгаре войны, можно было придраться к моему виду и надеть мне неприятностей; притом Дельфина не была моей женой, я не имел на нее никаких прав. Ввиду всего этого я ограничился тем, что ногой вытолкал ее в двери, выбросил за окно ее тряпки и кой-какие мелочи, чтобы она могла отправиться в Гент. Остальные деньги я считал вполне справедливым присвоить себе, так как я руководил знаменитой экспедицией. Я забыл сказать, что позволил доктору спокойно оставить свое убежище.

Избавившись от изменницы, я продолжал оставаться в Лилле, хотя срок позволения на то кончился; но в Лилле почти так же легко скрываться, как в Париже, и мое житье ничем бы не было возмущено без одного любовного приключения, о котором не стану распространяться. Достаточно сказать, что остановленный в женском костюме в момент бегства от ревнивого мужа, я был приведен на площадь, где сначала упорно отказывался от объяснений; признаваясь, я действительно или должен был погубить женщину, или выдать себя как дезертира. Но однако несколько часов пребывания в тюрьме заставили меня изменить решение. Штаб-офицер, которого я призвал выслушать мое признание и которому откровенно объяснил свое положение, по-видимому, принял во мне участие. Генерал, начальник дивизии, пожелал выслушать мой рассказ от меня самого и, слушая, помирал со смеху. Затем велел выпустить меня на свободу и дал мне письменный маршрут для присоединения к 28-му батальону в Брабанте; но вместо того я вернулся в Аррас, с твердым намерением поступить на службу не иначе, как в последней крайности.

Первый мой визит был к патриоту Шевалье; его влияние на Иосифа Лебона заставляло меня надеяться получить при его посредстве продолжение отпуска, что и действительно было сделано, и я снова вошел в сношения с семьей моего благодетеля. Сестра его, благосклонность которой ко мне уже известна, удвоила свое ухаживанье; с другой стороны, видя ее беспрестанно, я нечувствительно привыкал к ней и не замечал ее безобразия; словом, дела приняли такой оборот, что я не мог быть особенно удивлен, когда она вдруг объявила мне, что беременна; она не говорила о браке, даже не заикалась о нем; но я видел, что без него обойтись нельзя; иначе я рисковал подвергнуться мщению ее брата, который бы выдал меня за подозрительного аристократа, и особенно за дезертира. Мои родители, пораженные всеми этими обстоятельствами и надеясь иметь меня при себе, согласились на брак, который семейство Шевалье старалось наивозможно ускорить. Таким образом, мне пришлось-таки жениться в восемнадцать лет. Я уже рассчитывал быть и отцом, когда жена созналась мне, что беременность была вымышленная с целью только заставить меня жениться. Можно себе представить, как приятно мне было выслушать подобное признание; но те же самые причины, которые вынудили меня жениться, заставляли и теперь молчать, что я сделал, затаив бешенство в душе. Вообще наш союз состоялся при довольно плохих обстоятельствах. Мелочная лавка, открытая моей женой, шла весьма дурно; я приписывал это частому отсутствию моей жены, которая целые дни просиживала у брата; я стал было делать замечания и в ответ на них получил повеление вернуться в Дорник. Я мог бы и пожаловаться на такую милую манеру отделяться от докучливого мужа, но я так был отягощен игом Шевалье, что с радостью надел мундир, который прежде снял с таким удовольствием.

В Дорнике старый офицер бурбонского полка, в то время генерал-адъютант, зачислил меня в свою канцелярию по административной части, преимущественно по обмундированию войск. Вскоре дела по дивизии потребовали отправления верного человека в Аррас; я еду на почтовых и приезжаю в город в одиннадцать часов вечера. Движимый чувством, которое трудно объяснить, бегу прямо к жене, где долго стучусь, не получая ответа. Наконец уже сосед отворяет мне и чрез аллею я быстро приближаюсь к комнате жены. Меня поражает звук упавшей сабли; затем открывается окно, и на улицу выпрыгивает человек. Понятно, что меня

узнали по голосу. Я опрометью сбегая с лестницы и настагаю ловеласа, в котором узнаю полкового адъютанта 17-го егерского полка, находящегося в шестимесячном отпуску в Аррасе. Он был полураздет; я возвращаю его в спальню, где он заканчивает свой туалет, и мы расстаемся с условием драться на другой день.

Эта сцена наделала тревоги во всем квартале: многие соседи, сбежавшиеся к окнам, видели, как я ловил адъютанта, слышали его сознание. Стало быть, недостатка в свидетелях не было, и можно было подать заявление и хлопотать о разводе, что я и намеревался сделать; но семья моей целомудренной супруги тотчас стала поперек дороги и начала парализовать все мои попытки. На следующий же день, не успевши сойтись с полковым адъютантом, я был остановлен городовыми и жандармами, которые уже поговаривали о заключении меня в Боде. К счастью, я не терял бодрости; хорошо сознавая, что в моем положении не было ничего угрожающего, попросил привести себя к Иосифу Лебону, и мне не могли отказать в этом. Я предстал пред народным представителем, которого застал за грудой писем и бумаг. «Так это ты, – сказал он, – приезжаешь сюда без позволения... да еще вдобавок, чтобы обижать свою жену!..» Я тотчас сообразил, что надо отвечать; показал свой ордер, привел свидетельство соседей и самого полкового адъютанта, который не мог отречься. Словом, я так ясно рассказал свое дело, что Лебону пришлось сознать мою правоту. Но из угождения своему другу Шевалье он просил меня не оставаться долее в Аррасе, и так как я боялся, чтобы ветер не подул в другую сторону, чему знал немало примеров, то и сам желал наивозможно скорее последовать этому. Выполнивши возложенное на меня поручение и простившись со всеми, на другой день с рассветом я был на дороге в Дорник.

## Глава третья

*Встреча со старыми знакомыми из кофейной. – Пребывание в Брюсселе. – Знакомство с шулерами. – Фальшивое имя и фальшивые документы. – Знакомство с действующей армией. – Баронесса и сын булочника. – Парижская кокотка.*

Не найдя в Дорнике генерал-адъютанта, который поехал в Брюссель, я на другой же день взял дилижанс и отправился за ним. В дилижансе с первого взгляда я заметил трех лиц, с которыми познакомился еще в Лилле и которые целые дни проводили в кофейной, существуя на весьма подозрительные средства. К великому удивлению, я их увидел в мундирах различных корпусов: одного с эполетами полковника, другого в мундире капитана, а третьего в мундире лейтенанта. Откуда могли они заpastись мундирами, так как нигде не служили? Я терялся в догадках. Они со своей стороны сначала как будто несколько смутились от неожиданной встречи со мной, но скоро оправились и выказали дружеское удивление при виде меня простым солдатом. Когда я растолковал, каким образом распушение реквизиционных батальонов заставило меня потерять чин, подполковник обещал свое покровительство, которое я охотно принял, не зная, однако, что думать о покровителе; я видел только одно, что он был при деньгах и платил за всех за табльдотом, где выказывал самый ярый республиканизм, давая в то же время понять, что он принадлежит к древней фамилии.

В Брюсселе я не был счастливее, чем в Дорнике: генерал-адъютант, как бы бегавший от меня, отправился в Люттих. Еду в этот город, рассчитывая, что это, наконец, не будет напрасная поездка; приезжаю, – он успел накануне отправиться в Париж, где ему надо было присутствовать на конвенте. Отсутствие его должно было продлиться более двух недель. Я решился ждать. Проходит срок – он не возвращается; проходит еще месяц – все нет и нет. Деньги так и плывут из рук самым бестолковым образом. Наконец я положил вернуться в Брюссель, где надеялся гораздо легче найти выход из затруднения. Откровенность, с которой я решился рассказать всю свою историю, заставляет меня сознаться, что я не был особенно безукоризненным, а отвратительное общество гарнизонных солдат, которое я посещал с самого детства, извратило бы даже лучшую натуру.

Поэтому я без особенно щекотливой совестливости поселился в Брюсселе у знакомой кокотки, которая, после того, как ее покинул генерал Ван-дер-Нотт, сделалась почти публичной женщиной. Праздный, как все люди, не имеющие прочного положения, я проводил целые дни в *Cafe Turc* и *Cafe Monnaie*, где преимущественно собирались всевозможные плуты и шулера; эти люди сорили деньгами, играли в отчаянные игры, и так как у них не имелось никаких известных средств, я не мог постичь, каким образом они могли вести такую роскошную жизнь. Один молодой человек из моих друзей, к которому я обратился с вопросом на этот счет, был очень удивлен моей неопытностью, и мне весьма трудно было убедить его, что это неведение было искренне. «Люди, которых вы здесь видите ежедневно, не что иное, как мошенники; остальные же, приходящие на один раз, суть жертвы их обмана, которые, раз потерявши свои деньги, не приходят более». Узнавши это, я стал многое замечать, что прежде ускользало от меня; я видел невероятное плутовство и часто порывался предупредить несчастных, которых обирали, что доказывает, что во мне еще не все доброе угасло. Шулера не замедлили догадаться насчет этого. Раз вечером в *Cafe Turc* составила партия, в которой *gonse* (так звали простаков, допускавших себя обыгрывать), потерявши сто пятьдесят луидоров, сказал, что желает завтра отыграться, и вышел. Едва он был за дверью, как выигравший, которого я и теперь постоянно вижу в Париже, подошел ко мне и сказал самым обыкновенным тоном: «По правде сказать, мы счастливо играли, и вы недурно сделали, что вошли в долю со мной; я выиграл десять партий... на четыре кроны, данных вами, вот десять луидоров... возьмите их». Я заметил ему,

что он ошибается, что я совсем не принимал участия в игре; вместо ответа он положил мне в руку десять луидоров и отошел. «Возьмите, – сказал мне молодой человек, посвятивший меня в игорные тайны и сидевший возле меня, – возьмите и следуйте за мною». Я машинально его послушался, и когда мы были на улице, он продолжал: «Они заметили, что вы следите за игрой, и страшатся, чтобы вы не угадали тайну, а так как вас нельзя застрашать, потому что у вас здоровый кулак, то и решились дать вам часть барышей. С этой поры будьте спокойны насчет своего существования; двух кофейных с вас совершенно достаточно, потому что вы можете от них получать, подобно мне, от четырех до шести крон в день». Несмотря на то, что моя совесть вполне мирилась с этим, я нашел нужным возражать и делать замечания. «Вы просто ребенок, – сказал мой почтенный друг, – это совсем не воровство... а просто что называется поправлять свои делишки... и поверьте, что подобные вещи совершаются точно так же в салонах, как и в таверне... Здесь плутуют – это принятое выражение... А не то ли же самое делает негоциант, который счел бы за преступление лишить вас малейшего процента и вместе с тем спокойно надувает в игре?» Что отвечать на столь основательные доводы? Ничего. Остается только оставить у себя деньги, что я и сделал.

Эти маленькие доходы вместе с сотней талеров, высылаемых матерью, позволили мне жить с некоторым шиком и выказать свою благодарность Эмилии, привязанность которой не оставалась без сочувствия с моей стороны. Следовательно, мои дела шли довольно хорошо, но однажды вечером я был остановлен в театре парка несколькими полицейскими агентами, которые требовали показать мой паспорт. Для меня это было бы опасно, и я отвечал, что у меня его нет. Меня отвели в Маделонет, и на следующий день при допросе я понял, что меня совсем не знали или принимали за другого. Поэтому я назвал себя Руссо, лильским уроженцем, и прибавил, что отправившись в Брюссель просто ради развлечения, я не счел нужным брать с собой свои документы. В заключение я просил назначить двух жандармов для сопровождения меня до Лилля на мой счет; а последние за несколько крон позволили и бедной Эмилии ехать со мною.

Хорошо было выбраться из Брюсселя, но еще важнее было не показываться в Лилль, где меня неизбежно задержали бы как дезертира. Надо было бежать во что бы то ни стало; так думала и Эмилия, которой я сообщил свой план, исполненный нами в Дорнике. Приехав туда, я сказал жандармам, что так как завтра, по приезде в Лилль, где я тотчас же должен был получить свободу, нам приходилось расстаться, то я намерен угостить их на прощанье хорошим ужином. Уже заранее очарованные моей щедростью и веселым расположением, они охотно согласились. Вечером, когда опьяненные пивом и ромом, думая, что и я нахожусь в таком же состоянии, они заснули за столом, я, воспользовавшись этим случаем, на простынях спустился из окна второго этажа. Эмилия следовала за мною, и мы отправились проселочной дорогой, где даже не пришлось бы и в голову нас отыскивать. Таким образом мы достигли предместья Нотр-Дам в Лилле, где я облекся в шинель конных егерей и наложил на левый глаз черную тафту с пластырем, что делало меня неузнаваемым. Несмотря на все это, я считал неблагоприятным оставаться долго возле своего родного города, и мы поехали в Гент. Там Эмилия довольно романтичным образом нашла своего отца, который убедил ее вернуться в семью. Правда, она согласилась меня оставить только с условием, что я приеду к ней, как только покончатся мои дела в Брюсселе.

Эти брюссельские дела, на которые я ссылался, были не что иное, как эксплуатация гостиниц *Cafe Turc* и *Cafe de la Monnaie*. Но чтобы показаться в этом городе, необходимы были бумаги, доказывающие, что я действительно был Руссо, лильский уроженец, как я это показал при допросе, бывшем прежде моего побега. Капитан бельгийских карабинеров, находившихся на службе у французов, по имени Лаббре, взялся при помощи пятнадцати луидоров снабдить меня необходимыми документами. Через три недели он действительно принес мне свидетельство о рождении, паспорт и свидетельство об отставке на имя Руссо; все это было

в таком совершенстве, какого я никогда не видел ни у одного подделывателя документов. С этими бумагами я отправился в Брюссель, где комендант крепости, старый приятель Лаббре, обещал устроить мои дела.

Успокоенный с этой стороны, я отправился в *Cafe Turc*. Первые, кого встретил я в зале, были офицеры, с которыми, как вспомнит читатель, я уже путешествовал. Они приняли меня превосходно, и угадывая, что мое положение не из блестящих, предложили мне чин подпоручика егерского конного полка, конечно, потому, что на мне была военная шинель. Столь лестное повышение нельзя было не принять, и на том же заседании сняли мои приметы; на мое признание, что имя Руссо было не мое настоящее, подполковник сказал, что я могу взять то, которое мне нравится. Я решил удержаться за собою имя Руссо; мне выдали письменный маршрут подпоручика 6-го егерского полка, путешествующего верхом и имеющего право на помещение и продовольствие. Таким образом, я вступил в эту *действующую армию* без войска, наполненную офицерами без свидетельств, с фальшивыми чинами и фальшивыми билетами; но тем не менее она внушала страх и почтение кригс-комиссарам, так как в те времена в военной администрации было весьма мало порядка. Могу только засвидетельствовать одно, что на всем пути по Нидерландам мы везде исправно пользовались рационами, без малейшего замечания на этот счет; между тем *действующая армия* заключала в себе тогда не менее двух тысяч авантюристов, живших как рыба в воде. Любопытнее всего то, что повышения делались настолько быстро, как только то позволялось обстоятельствами; повышения эти приносили всегда выгоду, потому что служили к увеличению рационов. Таким образом я сделан был капитаном гусар, один из моих товарищей – начальником батальона, но что особенно меня поразило – это производство нашего подполковника в чин бригадного генерала. Если с одной стороны важность подобного чина и обуславливаемая им почетная знатность делала роль обманщика более трудной, то с другой – смелость подобной роли устраняла всякие подозрения на этот счет.

По возвращении в Брюссель нам выдали квартирные билеты, и я был помещен у богатой вдовы, баронессы И. Меня приняли так, как в то время вообще принимали французов в Брюсселе, т. е. с распростертыми объятиями. В мое полное распоряжение предоставлена была прекрасная комната; хозяйка, восхищенная моей скромностью, самым любезным образом сказала мне, что если ее обеденный час удобен для меня, то мой прибор всегда будет накрыт. Невозможно было устоять пред столь милым предложением, и я рассыпался в благодарностях; в тот же день я явился на обед, на котором присутствовали три старые дамы, не исключая баронессы, которой, впрочем, не дошло еще до пятидесяти. Все они были очарованы предупредительностью гусарского капитана. В Париже меня сочли бы довольно неловким в подобной роли, но в Брюсселе я был совершенством, принимая в расчет, что раннее поступление на службу неизбежно должно было повредить моему воспитанию. Баронесса, вероятно, думала так, потому что ее любезность и предупредительность наводили меня даже на раздумье.

Так как я иногда ходил обедать к своему *генералу*, от приглашений которого не мог отказаться, то баронесса непременно желала, чтобы я представил его ей с другими своими товарищами. Долго я не исполнял этого желания; у ней бывали гости, и легко было встретиться с кем-нибудь, кто мог бы открыть нас; но она настаивала, и я должен был уступить, дав понять, впрочем, что так как *генерал* желает отчасти сохранить инкогнито, то чтобы не было большого общества. *Генерал* пришел; баронесса, посадившая его возле себя, так его отлично приняла, так долго говорила с ним вполголоса, что я был даже обижен. Для прекращения этого тет-а-тет я вздумал просить генерала спеть нам что-нибудь под аккомпанемент фортепиано. Я хорошо знал, что он совсем не знал нот, но рассчитывал, что обычное настаиванье присутствующих займет его хоть на несколько минут чем-нибудь другим. Хитрость моя удалась только наполовину: подполковник, видя, что все упрашивают генерала, весьма любезно предложил заменить его. Он действительно сел за фортепиано и спел несколько отрывков с достаточным вкусом, чтобы заслужить всеобщее одобрение, тогда как я посылал его ко всем чертям.

Наконец этот бесконечный вечер прошел; все разошлись, и я ушел с планами мщения сопернику, который мог у меня отнять, если не любовь, то лестную заботливость баронессы. Занятый этой мыслью, я рано утром отправился к *генералу*, который весьма удивился столь раннему визиту.

– Знаешь ли, – сказал он, не давая мне времени начать разговор, – знаешь ли, мой друг, что баронесса...

– Кто вам говорит о баронессе? – прервал я резко. – Я не за тем явился к вам.

– Тем хуже, если ты не хочешь говорить о ней; мне нечего и слушать.

Продолжая таким образом интриговать меня, он наконец сказал, что разговор его с баронессой вращался исключительно на мне и что он настолько подвинул мое дело, что она готова идти за меня замуж.

Сначала я думал, что у моего бедного приятеля ум за разум зашел: одна из богатейших титулованных нидерландок выйдет замуж за авантюриста, не имеющего ни семьи, ни состояния, ни предков! Это показалось бы невероятным для самых легковверных. Принимать ли мне участие в обмане, который рано или поздно должен был обнаружиться и погубить меня? Не был ли я, наконец, действительно и законно женат в Аррасе? Эти возражения и многие другие, заставлявшие меня почувствовать некоторое раскаяние в том, что я должен обмануть такую превосходную женщину, оказывающую мне столько дружбы, ни на минуту не остановили моего собеседника. Вот что он мне отвечал на это:

«Все, что ты говоришь, прекрасно; я совершенно с тобой согласен, и чтобы тебе следовать своей природной склонности к добродетели, тебе недостает только десяти тысяч ливров годового дохода. Но я не вижу здесь причин особенной совестливости. Чего желает баронесса? Мужа, который бы ей нравился. А разве ты не можешь быть таким мужем? Ведь ты имеешь твердое намерение относиться к ней с полным уважением, вообще так, как относятся к человеку, который нам полезен и на которого мы не можем ни в чем пожаловаться. Ты говоришь о неравенстве состояния; баронесса на это не обращает внимания. Стало быть, у тебя недостает только единственно почетного звания; ну так знай же, что ты его получишь. Да, я даю его тебе!.. Не гляди на меня удивленными глазами, а лучше выслушай и не заставляй повторять одного и того же. Ты знаешь какого-нибудь дворянина твоей родины и твоих лет? Ну вот этим дворянином ты и будешь. Родители твои – эмигранты и живут в Гамбурге. Ты же вернулся во Францию, чтобы выкупить дом отца и взять там столовую серебряную посуду и тысячу луидоров, спрятанных под полом в зале. Присутствие посторонних, ускоренный отъезд, который нельзя было отложить ни на минуту вследствие приказа немедленно привезти в суд твоего отца, помешали захватить с собою эти вещи. Приехав в страну переодетым подмастерьем, ты был выдан человеком, который должен был содействовать твоему предприятию. Обвиненный, преследуемый республиканскими властями, ты должен был уже сложить голову на плаху, как я нашел тебя на большой дороге, полумертвым от страха и голода. Старый друг твоей семьи, я помог тебе получить свидетельство гусарского офицера под именем Руссо, пока случай не доставит возможности отправиться к родителям в Гамбург... Баронесса уже знает все это... Да, все... Исключая твоего имени, которое я не сказал ей, как бы из скромности, а в действительности потому, что не знаю, какое ты пожелаешь взять. Предоставляю тебе самому открыть его.

Итак, дело решенное, ты дворянин: уж не отрекаться же от этого. Не говори мне о жене своей, негодяйке; в Аррасе ты разведешься под именем Видока, а в Брюсселе женишься под именем графа В...

Теперь выслушан меня хорошенько: до сих пор наши дела шли довольно хорошо; но все это может измениться с минуты на минуту. Мы уже встретили некоторых любопытных кригс-комиссаров, можем встретить не столь покорных, которые лишат нас пропитания и пошлют на службу при *маленьком флоте* в Тулон. Ты понимаешь... и достаточно. Самое счастливое, что может выпасть тебе на долю, это вступление опять в старый полк, рискуя быть расстрелян-

ным как дезертир. Женившись, ты, напротив, обеспечиваешь свое существование и вдобавок можешь быть полезен друзьям. Так как мы коснулись этого пункта, то заключим условие. У твоей жены сто тысяч флоринов доходу; нас трое; каждому из нас ты назначишь тысячу талеров пенсии, получаемой вперед; да кроме того, я должен получить награду в тридцать тысяч франков за то, что сделал графа из сына булочника».

Я уже был покорен: эта речь, в которой *генерал* так ловко выставил все трудности моего положения, окончательно восторжествовала над моим сопротивлением, которое, признаюсь, было не из очень упорных. Я соглашаюсь на все, и мы отправляемся к баронессе. Граф В... падает к ее ногам. Сцена разыгрывается, и, чему трудно поверить, я так проникаюсь духом роли, что сам считаю правдой все говоренное, что, говорят, иногда случается с лгунами. Баронесса восхищена моими остротами и трогательными чувствами, внушаемыми положением. *Генерал* торжествует, видя мои успехи, и все остаются довольны. Иногда у меня то тут, то там вырываются некоторые восклицания, отчасти напоминающие кабак; но *генерал* постарался предупредить баронессу, что политические смуты значительно помешали моему образованию; она удовольствовалась этим объяснением. Маршал Сюше не был особенно взыскательным с тех пор, как Куаньяр, написавши «господину le duque (герцогу) д'Альбюфера», извинялся, что, будучи эмигрантом с весьма молодых лет, он знал французский язык весьма плохо.

Раз садимся мы за стол. Обед проходит наилучшим образом, а за десертом баронесса говорит мне на ухо: «Я знаю, мой друг, что состояние ваше в руках якобинцев; между тем родители ваши, живя в Гамбурге, могут находиться в затруднении; сделайте мне удовольствие переслать им вексель в три тысячи флоринов, которые мой банкир доставит вам завтра утром». Я рассыпался в благодарностях; она прервала меня и, выйдя из-за стола, прошла в гостиную, что дало мне возможность сообщить обо всем этом *генералу*. «Ах ты, простофиля, – сказал он. – Ты думаешь объявить мне новость?.. А не я ли шепнул баронессе, что твои родители могут иметь нужду в деньгах?.. В настоящую минуту эти родители – мы... Наши фонды уменьшаются, а если отважиться на что-либо преступное, чтобы их пополнить, это значит умышленно рисковать успехом нашего великого предприятия... Я беру на себя продажу векселя. Вместе с тем я внушил баронессе, что тебе необходимы деньги, чтобы до свадьбы выказать себя в надлежащем свете, и решено, что от нынешнего дня до дня церемонии ты будешь получать пятьсот флоринов в месяц». Действительно, на следующий день я нашел эту сумму на моем письменном столе, и, кроме того, серебряный вызолоченный туалет и несколько драгоценных безделушек. Между тем метрическое свидетельство графа В... имя которого я принял, не появлялось: *генерал* намеревался снять с него копию, равно как подделать другие бумаги. Баронесса, ослепление которой может показаться непостижимым для людей, не имеющих понятия, до каких пределов доходят иногда доверие и дерзость обманщиков, согласилась выйти за меня под именем Руссо. У меня были все необходимые для этого бумаги. Недоставало только благословения отца, которое весьма легко было получить с помощью Лаббре, бывшего под рукой; но хотя баронесса согласилась быть моей женой под вымышленным именем, все-таки она не захотела бы быть некоторым образом участницей в обмане, который уже не оправдывался необходимостью спасти мою голову. Во время наших совещаний по поводу этого, мы узнали, что наличный состав действующей армии до такой степени увеличился в завоеванной стране, что правительство, открывши наконец глаза, приняло строгие меры для ее обуздания. Поэтому мундиры были сняты, чтобы не быть узнаваемыми, но преследования и поиски сделались столь энергичны, что *генерал* принужден был внезапно оставить город и отправиться в Намюр, где можно было быть менее на виду. Объясняя это неожиданное исчезновение баронессе, я сказал, что *генерал* был озабочен вследствие того, что принял меня на службу под вымышленной фамилией. Это повергло ее в сильное беспокойство обо мне самом, и я ее успокоил только отъездом в Бреду, куда она непременно желала ехать со мной.

Ко мне нейдет разыгрывать чувствительность, и я бы не заслуживал репутации тонкого человека, обладающего тактом, который мне вообще приписывают, если бы выставлял напоказ свои чувства и ощущения. Поэтому читатель может поверить мне, что такая преданность баронессы живо тронула меня. Во мне заговорил голос раскаяния, который не может быть вполне заглушен в девятнадцать лет. Я увидел пропасть, в которую влеку превосходную женщину, оказавшую мне столько великодушия. Я предвидел, что она вскоре оттолкнет с ужасом дезертира, бродягу, двоеженца, самозванца. Отдалившись от тех, кто вовлек меня в эту интригу и которые были арестованы в Намюре, я еще более утвердился в своем намерении и раз вечером, после ужина, приступил к объяснению. Не вдаваясь в подробности о своих приключениях, я сказал баронессе, что обстоятельства, которые мне невозможно было объяснять, вынудили меня появиться в Брюсселе под двумя именами, уже известными ей, но которые оба не принадлежали мне. Я добавил, что те же злосчастные обстоятельства заставляют меня оставить Нидерланды, не заключивши союза, который бы составил мое счастье, но что я навек сохраню воспоминание о ее благородстве и о всем, что она для меня сделала.

Я говорил долго, одушевленно, с жаром и легкостью, о которых сам не могу вспомнить без удивления. Я как бы страшился остановиться и услышать ответ баронессы. Неподвижная, бледная, с пристальным взглядом, как у лунатика, она слушала, не прерывая меня. Затем, взглянув на меня с ужасом, быстро встала и ушла в свою комнату. После того я не видал ее. Внезапно озаренная моим признанием, несколькими словами, которые могли у меня вырваться в минуту замешательства, она догадалась о грозившей ей опасности и в своей справедливой недоверчивости, может быть, сочла меня более виноватым, чем я был на самом деле. Может быть, думала она, что отдалась какому-нибудь страшному преступнику, быть может, обгабренному кровью... С другой стороны, если сложность всей этой истории подделки и обмана не могла не навести ужас на баронессу, то добровольное признание, сделанное мною, должно было вместе с тем умерить ее беспокойство. Вероятно, последнее одержало верх, потому что на другой день, проснувшись, я получил шкатулку с пятнадцатью тысячами золотом, которые баронесса прислала мне, уезжая из города в час ночи. Я с удовольствием услышал об этом отъезде, потому что присутствие ее тяготило меня. Так как ничто более не удерживало меня в Бреде, то через несколько часов я был по дороге в Амстердам.

Я уже сказал и опять повторяю, что некоторые подробности этой истории могут показаться неестественными, а через них и все остальное примут за ложь, между тем нет ничего вернее. Впрочем, многое вполне обыкновенно и может встретиться во всяком даже маленьком романе. Я вдался в некоторые мелочные подробности не из желания добиться эффекта мелодрамы, а чтобы предостеречь доверчивых людей против одного из родов обмана, употребляемого гораздо чаще и с большим успехом, нежели думают. Такова цель этой истории. Пусть обдумают все ее детали, и, может быть, в одно прекрасное утро должности прокуроров, судей, жандармов и полицейских агентов окажутся ненужными.

Мое пребывание в Амстердаме было весьма недолгое: я сгорал желанием видеть Париж. Пустивши в ход векселя баронессы, я отправился в путь и 2 марта 1796 г. вступил в столицу, где впоследствии мое имя сделалось довольно известным. Поселившись в улице Лешель в гостинице «Веселый Лес», я прежде всего начал менять свои дукаты на французские деньги и продавать маленькие безделушки и предметы роскоши, которые уже были мне не нужны, потому что я намеревался жить в одном из окрестных городов и взяться за какое-нибудь мастерство. Но мне не пришлось осуществить этот план. Раз вечером один из тех господ, которых всегда можно найти в гостиницах и которые легко знакомятся с путешественниками, предложил мне отправиться в игорный дом. Я согласился от нечего делать, смело рассчитывая на свою опытность, приобретенную в *Cafe Turc* и *Cafe de la Monnaie*, но оказалось, что брюссельские шулера годились бы разве только в ученики к тем артистам, с которыми мне пришлось теперь войти в состязание. В настоящее время игорная администрация имеет за собою только *рефет* и огром-

ную привилегию не покидать игры, шансы же почти одни и те же. Но в те блаженные времена, о которых я повествую, когда полиция терпела игорные дома особого рода, известные под названием *étouffoirs*, шулера мало того, что подменивали карты и подбирали цвета, подобно захваченным недавно у Лафит гг. С... сына и А. ла-Рош, но имели между собой условные знаки, столь сложные, что нечего было и думать бороться с ними. В два приема я был освобожден от сотни луидоров, которых имел достаточно. Но, верно, суждено было ускользнуть от меня всем деньгам моей покровительницы-баронессы. Для этой цели судьба избрала в агенты хорошенькую женщину, которую я случайно встретил за табльдотом, где иногда обедал. Розина сначала выказала примерное бескорыстие. В продолжение месяца, как я был ее любовником, она ничего мне не стоила, если не считать обедов, спектаклей, цветов и т. п. вещей, которые в Париже ничего не стоят... когда за них не платят.

Все более и более влюбляясь в Розину, я не оставлял ее ни на минуту. Раз утром, за завтраком, я нашел ее озабоченной, стал приставать к ней с вопросами, на которые она сначала отнекивалась, а в заключение созналась, что ее тревожит пустячный долг модистке и обойщику. Я поспешно предложил свои услуги: мне отказывают с замечательным великодушием, так что я даже не мог получить адреса кредиторов. Многие бы успокоились на этом, но я, как истый рыцарь, суетился и допытывался до тех пор, пока горничная возлюбленной не доставила мне адреса. После того из улицы Вивьенн, где жила Розина под именем г-жи Сен-Мишель, я немедленно бросился к обойщику, в улицу Клери. Объявляю цель своего появления. Меня, конечно, встречают с большой любезностью, как водится в подобных случаях, вручают мне счет, и я с изумлением вижу, что он простирается до тысячи двухсот франков; но отступить было невозможно; я заплатил. У модистки та же сцена, с такой же предупредительностью и со счетом во сто франков приблизительно. Было от чего охладиться самому неустрашимому поклоннику; но этим не кончилось дело. Через несколько дней по удовлетворении этих кредиторов меня ловко заставили закупить на две тысячи франков драгоценных вещей, а всевозможные удовольствия продолжали идти своим чередом. Я со смущением видел, как исчезают мои денежки, но страхась проверить свою кассу, со дня на день откладывал эту проверку. Однако пришлось приступить к ней, и я узнал, что в два месяца издержана пустячная сумма в четырнадцать тысяч франков. Это открытие навело меня на серьезное раздумье, которое тотчас же было замечено Розиной. Она догадалась, что финансы мои клонятся к упадку; женщины имеют в этом отношении какое-то особенное чутье, которое редко их обманывает. Не оказывая мне прямой холодности, она сделалась более сдержанной, и на мое удивление по этому поводу отвечала с особенной резкостью, «что расстройство собственных ее дел приводит ее в дурное расположение». Это была новая ловушка; но я слишком дорого поквитался за вмешательство в ее дела, чтобы попасть опять на ту же удочку; поэтому я ограничился замечанием, что надо иметь терпение. Это ее сделало еще более угрюмой. Таким образом прошло несколько дней; наконец бомба разразилась.

Вследствие весьма незначительной размолвки она высказала мне самым грубым тоном, что «не любит, чтобы ей противоречили, и что кто не может помириться с ее образом жизни, тот пусть отправляется восвояси». Кажется, было сказано довольно ясно, а я имел слабость не обратить на это внимания. Новые подарки возвратили мне на несколько дней нежность, насчет которой я, впрочем, не мог уже более обманываться. Тогда Розина, хорошо зная, чего можно ожидать от моего слепого увлечения, снова стала требовать две тысячи франков, которые она должна была уплатить по векселю под страхом быть осужденной на заключение. Розина в тюрьме! Это мне было невыносимо, и я снова готов был на жертвы, когда случайно попало мне в руки письмо, раскрывшее мне глаза.

Оно было от *сердечного друга* Розины, который из Версаля задавал ей вопрос, «когда же глупец останется без гроша», чтобы иметь возможность фигурировать на его месте. Это приятное послание я перехватил у дворника и прямо с ним направился к коварной, но не застал

ее дома. Взбешенный и униженный, я не мог сдерживаться. Находясь в спальне, я опрокидываю ногой столик с фарфором, и большое зеркало Психеи разлетается вдребезги. Горничная, не терявшая меня из вида, бросилась на колени и умоляла прекратить погром, который мог мне обойтись слишком дорого. Я смотрю на нее, колеблюсь, и остаток здравого смысла показывает мне, что она может быть права. Осаждаю ее вопросами, и эта славная девушка, отличавшаяся кротостью и добротой, объяснила мне поведение госпожи. Рассказ ее весьма полезно передать, тем более, что подобные вещи ежедневно повторяются в Париже.

До встречи со мной Розина в продолжение двух месяцев никого не имела. Вообразив, что я богат, судя по тратам, которые делались, она составила план, чтоб воспользоваться случаем; любовник ее, письмо которого попало мне, согласился прожить в Версале до тех пор, пока кончатся мои деньги. Вексель, по которому преследовали Розину и который я столь великодушно уплатил, был на имя этого любовника; модистка и обойщик были также вымышленными кредиторами.

Горько досадуя на собственную глупость, я в то же время удивлялся, что благородная особа, так ловко меня обобравшая, все еще не возвращалась. Девушка сказала на это, что дворничиха предупредила ее о том, что она получила от Розины письмо и что она не вернется. Это оказалось справедливым. Узнавши о катастрофе, помешавшей обобрать меня до последней нитки, Розина отправилась в Версаль к возлюбленному. Оставленные ею пожитки не стоили того, что нужно было уплатить за два месяца за квартиру. Когда я намеревался уйти, то хозяин потребовал плату за фарфор и зеркало, на которых я излил свою ярость.

Столь сильный ущерб значительно подорвал мои финансы, и без того сильно расстроенные. Тысяча двести франков, вот все, что осталось от щедрых даяний баронессы. Я получил отвращение от столицы, принесшей мне столько вреда, и решил отправиться в Лилль, где, при своих знакомствах, я все-таки мог найти средства к существованию.

## Глава четвертая

*Цыгане. – Фламандская ярмарка. – Возвращение в Лилль и первое сближение с Франсиной. – Исправительный суд. – Башня Св. Петра. – Подлог.*

Как военная крепость и пограничный город Лилль представлял многие преимущества для тех, кто, подобно мне, мог отыскать там полезных знакомых, или в гарнизоне, или в том кругу людей, которые, как бы стоя одной ногой во Франции, другой в Бельгии, в действительности не имели оседлости ни в той, ни в другой стороне. Принимая в расчет все это, я надеялся выйти из затруднения и не обманулся. В 13-м егерском полку я нашел многих офицеров 10-го и в числе их лейтенанта Вилледье, который впоследствии явится на сцену. Все они знали меня в полку под одним из тех имен, которые было тогда в обычае принимать, и потому нисколько не удивились моему новому имени Руссо. Целые дни я проводил с ними в кофейной или фехтовальной зале; но в этом мало было прибыли, и я видел, что скоро совсем останусь без денег. В это время один из обычных посетителей кофейной, которого прозвали капиталистом за его правильный образ жизни и который несколько раз обращался ко мне со свойственной ему любезностью, стал с участием говорить о моем положении и предложил мне путешествовать вместе с ним.

Путешествовать – вещь весьма хорошая, но в качестве кого? Я уже не был того возраста, когда можно вдруг наняться в паяцы или в услужение ходить за обезьянами и медведями, и, конечно, никто не вздумал бы мне предложить ничего подобного, но, во всяком случае, надо было иметь определенное положение; поэтому я скромно спросил своего нового покровителя, какого рода обязанности будут возложены на меня. «Я странствующий врач, – сказал этот человек, густые бакенбарды которого и смуглый цвет лица придавали ему нечто особенное, – и лечу также секретные болезни с помощью одного верного средства. Лечу животных и еще недавно вылечил лошадей эскадрона 13-го егерского полка, от которых уже отказался полковой ветеринар». Ну, подумал я, опять шарлатан... Но отступить было невозможно. Мы уславливаемся завтра утром отправиться в путь и с этой целью сойтись в пять часов у Парижских ворот.

Я аккуратно явился в назначенный час. Спутник мой также пришел и, увидя в руках рассыльного мой чемодан, сказал, что его незачем брать, потому что мы отправимся только на три дня и пешком. Мне пришлось отослать вещи назад в гостиницу, и мы пустились в путь довольно быстро, потому что надо было до полудня пройти пять миль. К этому времени мы действительно достигли уединенной гостиницы, где товарища моего встретили с распростертыми объятиями и называли Кароном, именем, которое было для меня ново, потому что прежде все его звали Христианом. Обменявшись несколькими словами, хозяин дома прошел в свою комнату, вынес оттуда два или три мешка, наполненные талерами, и положил их на стол. Мой товарищ взял их, стал разглядывать один за другим со вниманием, которое показалось мне притворным, отложил в сторону сто пятьдесят и такую же сумму отсчитал фермеру различной монетой, прибавя сверх того шесть крон. Я ничего не понял из этой процедуры, к тому же она сопровождалась фламандским наречием, которое я плохо понимаю. Поэтому я был весьма удивлен, когда по выходе из фермы, куда Христиан обещал скоро прийти опять, он дал мне три кроны, говоря, что я должен иметь свою долю в барышах. Я не понимал, откуда могли получиться барыши, и заметил ему это. «То мой секрет, – отвечал он таинственно, – впоследствии ты узнаешь его, если я буду тобою доволен». На мое удостоверение, что в скромности моей он не может сомневаться, так как я ничего не знаю, исключая разве того, что он выменивает талеры на другую монету, он сказал, что об этом-то именно и следует молчать, во избежание конкуренции. Объяснение на том и покончилось; я взял деньги, сам не зная, что из всего этого выйдет.

В продолжение четырех следующих дней мы не переставали делать подобные визиты в различные фермы, и каждый вечер я получал две или три кроны. Христиан, которого постоянно звали Кароном, был весьма известен в этой части Брабанта, но только как медик: хотя он продолжал операцию денежной мены, но разговор постоянно и везде велся только о болезнях людей и животных. Кроме того, я заметил, что он пользовался репутацией человека, умеющего избавлять животных от порчи и сглаза. При входе в деревню Вервик он вдруг посвятил меня в тайну своей магии.

– Можно на тебя положиться? – спросил он, приостанавливаясь.

– Без сомнения, – отвечал я, – но все-таки надо прежде узнать, в чем дело.

– Слушай и смотри...

Тогда он вынул из сумки четыре четырехугольных пакета, таких, какие бывают в аптеках, и, по-видимому, содержащих специфическое лекарство; затем сказал:

– Ты видишь четыре фермы, построенные на некотором расстоянии одна от другой: пройди в них задом, стараясь всячески не быть положительно никем замеченным. Ты войдешь в хлева или конюшни и высыпешь в ясли эти четыре порошка... Особенно берегись, чтобы тебя не увидели... Остальное уже мое дело.

Я сделал возражение, что меня могут застать в ту минуту, как я буду лезть на забор, остановить и наделать весьма затруднительных вопросов. Я наотрез отказался, несмотря на перспективу получки крон; все красноречие Христиана не могло изменить моего решения. Я даже сказал ему, что тотчас же его оставляю, если он не объявит мне моего настоящего занятия и не объяснит тайну размена денег, которая мне кажется страшно подозрительной. Такое требование, по-видимому, смутило его, и, как читатель увидит, он вздумал отделаться полукровностью.

– Где моя родина? – сказал он, отвечая на мой последний вопрос. – У меня ее нет... Мать моя, повешенная год тому назад в Темешваре, в то время, как я явился на свет в одной из деревень Карпатских гор, принадлежала к цыганскому табору, кочевавшему по границам Венгрии и Банната... говорю, к цыганскому, чтобы тебе было понятнее, хотя нас не так зовут; промеж себя мы называемся *Romamichels*, на языке, которому нам запрещено учить кого бы то ни было; нам также запрещено путешествовать в одиночку, отчего мы кочуем толпой от пятнадцати до двадцати человек. Мы долго во Франции промышляли колдовством с помощью веры в порчу и в сглаз; теперь это ремесло идет плохо: мужик француз стал слишком проныцателен, поэтому мы бросились во Фландрию; там более суеверия, и различие монет дает нам возможность успешно вести свое дело... Я три месяца пробыл в Брюсселе по особым делам, но теперь я все покончил и через три дня присоединюсь к своему табору на мехельнской ярмарке... От тебя зависит пристать к нам или нет... Ты мог бы быть нам полезным, но только без ребячества, конечно!!!

Отчасти затруднительное положение и незнание, куда приклонить голову, отчасти любопытство и желание довести приключение до конца заставили меня согласиться следовать за Христианом, не зная хорошенько, на что я мог быть ему годен. На третий день мы прибыли в Мехельн, где он объявил, что вернемся в Брюссель. Пройдя город, мы остановились в Лувенском предместье, пред весьма жалким домишком; почерневшие ставни его были изборождены глубокими трещинами и разбитые стекла заменялись огромными пучками соломы. Была полночь; я имел возможность делать свои наблюдения при лунном свете, потому что прошло добрых полчаса, пока пришла отворить нам одна из страшнейших старушенций, которых мне когда-либо приходилось видеть. Нас ввели в обширную залу, где человек тридцать обоих полов курили и пили, беспорядочно разместившись в угрожающих или неприличных позах. У мужчин под синими балахонами с красным шитьем надеты были голубые бархатные куртки с серебряными пуговицами, какие встречаются у погонщиков лошаков в Андалузии; все женщины были в одежде ярких цветов; иные лица были ужасны, несмотря на праздничную обста-

новку. Однообразный звук барабана, сопровождаемый воем двух собак, привязанных к ножкам стола, сопровождал странные песни, которые можно было принять за погребальные. Дым от табаку и дров, наполнявший этот вертеп, едва позволял наконец различить посреди комнаты женщину в ярко-красном тюрбане, которая танцевала дикий танец, принимая при этом самые сладострастные позы.

При нашем входе праздник прервался. Мужчины подошли подать руку Христиану, женщины его поцеловали, затем все глаза устремились на меня, который стоял перед ними в довольно смущенной позе. Я слышал про цыган множество историй, не имевших в себе ничего успокоительного. Мое беспокойство могло внушить их недоверие, они легко могли сделать со мной что угодно, и никто никогда не узнал бы о том, потому что никто не должен был знать о моем пребывании в этом притоне. Мое беспокойство сделалось настолько заметным, что поразило Христиана, который надеялся меня ободрить сообщением, что мы находимся у Герцогини, в полной безопасности. Во всяком случае аппетит заставил меня принять участие в празднестве; кружка так часто наполнялась можжевелевой водкой и так часто опустошалась, что я почувствовал потребность улечься в постель. Когда я сообщил об этом Христиану, он повел меня в соседнюю комнату, где на свежей соломе уже спали некоторые цыгане. Я не отличался особенной разборчивостью, но не мог не заметить своему хозяину того, что он, всегда имевший хорошие ночлеги, теперь выбрал столь плохой. На это он отвечал, что везде, где находились дома племени *Romamichels*, обязательно было останавливаться в них под опасением быть заподозренным в вероломстве и понести за то наказание. Впрочем, на этом солдатском ложе улеглись и женщины и дети, и их скорый сон показал, что они к нему привыкли.

С рассветом все были на ногах и принялись совершать туалет. Если бы не их резкие черты, не волосы, черные как смоль, если бы не лоснящаяся, медного цвета кожа, то я едва ли бы узнал моих вчерашних сотоварищей. Мужчины, одетые богатыми голландскими барышниками, с кожаными мешками за поясом, как их обыкновенно можно было встретить на реке Пуаси. Женщины, увешанные золотыми и серебряными украшениями, имели костюмы крестьянок Зеландии. Даже дети, бывшие вчера в лохмотьях, теперь были чисто одеты и старались соорудить другую физиономию. Вскоре все вышли из дома и направились различными дорогами, чтобы не прийти вместе на рынок, куда уже стекались толпы из соседних деревень. Христиан, видя, что я намерен за ним следовать, сказал, что я ему не нужен во весь день и могу отправляться, куда мне угодно, до самого вечера, когда мы должны были сойтись опять у Герцогини.

Еще наконец он сказал мне, что насчет моего ночлега с табором не было ничего решено; поэтому я начал с найма себе ночлега в гостинице. Затем, не зная, как убить время, отправился я на ярмарку; не успел я прийти, как нос к носу столкнулся с прежним нашим батальонным офицером, по имени Мальгаре, которого знал в Брюсселе занимающимся в *Cafe Turc* составлением довольно подозрительных партий. После первых приветствий он спросил о причине моего пребывания в Мехельне. Я рассказал ему целую историю; он со своей стороны сделал то же относительно своей поездки, и мы оба остались довольны, каждый воображая, что обманул другого. Слегка закусивши, мы возвратились на ярмарку, и во всех местах, где было стечение народа, я встречал несколько нахлебников Герцогини. Сказавши старому знакомому, что я никого не знал в Мехельне, я старался от них отворачиваться, чтобы не быть узнанным: я не намерен был признаваться в таком знакомстве. Но мой спутник был слишком хитер, чтобы позволить себя обмануть.

– Вот, – заметил он, глядя на меня пристально, – странно, что эти люди смотрят на вас так внимательно... Или вы их знаете?

Я отвечал, не оборачивая головы, что даже не имею понятия, кто такие они.

– Кто они такие? – отвечал мой собеседник. – С удовольствием сообщу вам это... предполагая, что вы того не знаете... Это воры!

– Воры! – воскликнул я. – А почему вы знаете?

– Вы сами это узнаете тотчас же, если последуете за мною; можно держать большое пари, что мы недалеко уйдем, чтобы видеть их за делом! Да вот посмотрите-ка лучше!

Действительно, поднявши глаза к группе, образовавшейся у зверинца, я ясно увидел, как один из мнимых барышников утащил кошелек у толстого содержателя зверей и как последний после разыскивал его по всем своим карманам самым тщательным образом. Цыган же вошел в лавку ювелира, где уже были две его товарки-зеландки, и спутник мой уверял, что он не выйдет оттуда, не стянувши нескольких драгоценных вещей, которые им показывали. Мы оставили свой наблюдательный пост, чтобы идти вместе обедать. После обеда, видя, что офицер расположен поболтать, я стал спрашивать его подробнее рассказать мне, что это были за люди, на которых он обратил мое внимание, и добавил, что как бы ему там ни казалось, а я имею о них весьма сбивчивое понятие. Наконец он решился удовлетворить мое любопытство и сообщил следующее:

«В гентской тюрьме, где я провел шесть месяцев несколько лет тому назад за маленькую партию с поддельными игральными костями, я имел случай узнать двух господ из этой шайки, которую нахожу здесь в Мехельне; мы сидели в одной палате. Так как я выдавал себя за отъявленного вора, то они доверчиво рассказали мне свои фокусы и даже познакомили со всеми подробностями своей странной жизни. Они прибыли из молдавских деревень, где сто пятьдесят тысяч их братья прозябают, подобно евреям в Польше, не имея возможности занять другой должности, кроме должности палача. Имя их разнится по странам, где они находятся; так в Германии их зовут цигинер (*ziguiners*), в Англии – жипсе (*gipsy*), в Италии – зенгари (*zingari*), в Испании – гитано (*gitanos*), и наконец во Франции и Бельгии – богемцы (*bohemiens*); они путешествуют по всей Европе, занимаясь самыми унижительными и самыми опасными ремеслами: стригут собак, гадают, склеивают посуду, лудят медь, угощают отвратительной музыкой у дверей гостиниц, спекулируют шкурами кроликов и обменивают иностранную монету.

Они занимаются также продажей специфических средств от болезней животных и для большего сбыта подсылают на фермы своих доверенных, которые под каким-либо предлогом входят в хлева и насыпают в ясли какого-нибудь снадобья, от которого животные заболевают. Затем являются они сами, и их принимают с распростертыми объятиями. Зная причину болезни, они легко уничтожают зло, и доверчивый земледелец не находит слов, как выразить им свою благодарность. Это еще не все; уходя с фермы, они осведомляются, нет ли у хозяина монет такого-то и такого-то года, того или другого чекана, обещая купить их дороже. Заинтересованный крестьянин, как всякий, редко и с трудом имеющий случаи зашибить лишний грош, спешит показать им свою казну, из которой часть они всегда ухитряются украсть. Кто поверит, что этот маневр они иногда употребляют несколько раз безнаказанно в одном и том же доме? Пользуясь этими обстоятельствами и знанием местности, они указывают своим товарищам по ремеслу уединенные, богатые фермы и средства туда проникнуть, конечно, получая за это свою долю барыша».

Мальгаре сообщил еще много о цыганах, что заставило меня принять твердое намерение немедленно оставить это опасное общество. Он все еще говорил, поглядывая по временам на улицу, в окно, у которого мы обедали. Вдруг раздался его возглас: «Взгляни, пожалуйста, на этого цыгана, он только что выпущен из гентской тюрьмы!» Я взглянул и, к удивлению, увидел... Христиана, шедшего весьма скоро и с озабоченным видом. Я не мог воздержаться от восклицания. Мальгаре, пользуясь тревогой, в которую повергли меня его открытия, без труда заставил меня рассказать ему, каким образом я сошелся с цыганами. Видя, что я твердо решил уйти от них, он предложил мне отправиться в Куртре, где ему предстояло, как он говорил, составить несколько хороших партий. Взявши из гостиницы свои вещи, принесенные туда от Герцогини, я отправился опять в путь с новым товарищем; но мы не нашли в Куртре ожидаемых лиц, которых Мальгаре рассчитывал пощипать, и вместо выигранных денег выле-

тели наши собственные. Не надеясь более их дождаться, мы вернулись в Лилль. У меня еще была сотня франков. Мальгаре стал на них играть и проиграл их вместе с остатком собственных. Впоследствии я узнал, что он сговорился со своим партнером обобрать меня.

В такой крайности мне пришлось прибегнуть к своим знаниям: несколько фехтовальных учителей, которым я сообщил о своем затруднительном положении, устроили в мою пользу ассо<sup>3</sup>, доставив мне сотню талеров. С этой суммой, на время избавившей меня от нужды, я снова начал посещать общественные увеселения, балы и т. п. В это-то время я заключил связь, последствия которой решили судьбу всей моей жизни. Нет ничего проще начала этого важного эпизода моей истории. Я встретился с одной камелией, с которой вскоре вошел в интимные отношения. Франсина, так ее звали, казалась весьма расположенной ко мне и беспрестанно уверяла в своей верности, что не мешало ей иногда тайком принимать у себя инженерного капитана. Раз я застаю их за ужином наедине у трактирщика, на площади Риур; в страшной ярости я бросаюсь на них с кулаками. Франсина за благо рассудила бежать, но товарищ ее остался. И вот возникла жалоба на мое насилие; меня арестуют и увозят в тюрьму *Petit-Hotel*. Во время разбирательства дела меня часто навещали многие дамы из моих знакомых, поставивших своей обязанностью утешать меня. Франсина узнает об этом, ревность ее возбуждается, она спроваживает беднягу капитана, отказывается от жалобы, которую вместе с ним принесла на меня, и в заключение просит позволить ей видеться со мной; я имел слабость согласиться. Судьи сочли этот факт за злоумышленный заговор против капитана между мною и Франсиной. Я оказался присужденным к заключению в тюрьме на три месяца.

Из *Petit-Hotel* меня препроводили в Башню Святого Петра, где засадили в отдельную комнату, называвшуюся *Oeil de Boeuf*. Франсина занимала у меня одну половину дня, а другую я проводил в обществе арестантов. Между ними были два фельдфебеля, Груар и Гербо (последний – сын сапожника), оба осужденные за подлог, и крестьянин Буатель, осужденный на шесть лет заключения за кражу зернового хлеба. Буатель, будучи отцом многочисленной семьи, постоянно жаловался, что у него отняли возможность обрабатывать его маленький участок, который только его усилиями мог быть поставлен в надлежащее состояние. Несмотря на сделанный им проступок, им интересовались, или скорее его детьми, и многие из обывателей ходатайствовали за него, но безуспешно; бедняк в отчаянии часто повторял, что заплатил бы очень порядочную сумму за свое освобождение. Груар и Гербо, находившиеся в Башне Святого Петра до отправления в каторжные работы, решили быть ему полезными с помощью прошения, которое они сочинили сами. Составленный ими план был для меня весьма гибелен.

Вскоре Груар объявил, что не может спокойно работать при таком шуме, в зале, наполненной восемнадцатью или двадцатью заключенными, которые пели, болтали или ссорились целый день. Буатель, оказавший мне некоторые услуги, просил пустить в мою комнату составителей прошения, и я, хотя неохотно, согласился и позволил им проводить там четыре часа ежедневно. На другой же день они там поместились, и сам тюремщик ходил туда тайком. Эта таинственность тотчас же возбудила бы подозрение во всяком, сколько-нибудь знакомом с тюремными интригами; но я, чуждый всего этого, развлекавшийся попойкой с друзьями, посещавшими меня, мало обращал внимания на то, что происходило в *Oeil de Boeuf*.

Дней через восемь меня поблагодарили за мое одолжение, объявив мне, что просьба готова и что можно надеяться на помилование просителя, не посылая ее в Париж, так как имелаась сильная протекция у народного представителя в Лилле. Все это было довольно темно; но я не обратил внимания, думая, что, не принимая никакого участия в деле, я не имел ни малейшей причины беспокоиться, хотя оно принимало оборот, который должен бы был заставить призадуматься. Не прошло двух суток по окончании просьбы, как приехали два брата Буателя и обедали с ним за столом тюремщика. После обеда вдруг является вестовой и пере-

---

<sup>3</sup> Ратоборство в фехтовальном искусстве.

дает тюремщику пакет; развернув его, последний восклицает: «Добрая новость, ей-Богу! Это приказ освободить Буателя». При этих словах все с шумом встают, целуются, смотрят приказ, поздравляют Буателя, который, отправя все свои вещи еще накануне, немедленно оставил тюрьму, не простившись ни с одним из заключенных.

На другой день, в десять часов утра, тюремный инспектор пришел для осмотра тюрьмы. Тюремщик показал ему приказ об освобождении Буателя; едва взглянув на него, инспектор прямо сказал, что приказ фальшивый, и не велел выпускать Буателя до тех пор, пока не будет об этом донесено начальству. На это тюремщик возразил, что Буатель еще вчера выпущен на свободу. Инспектор выразил свое удивление, заметив, что нужно быть слишком недалководным, чтоб позволить себя обмануть приказом с фальшивыми подписями, причем приказал ему никуда не отлучаться, а сам поехал к высшему начальству, где и удостоверился, что, независимо от фальшивых подписей, в нем есть ошибки и отступления от формы, которые не могут не броситься в глаза всякому мало-мальски знакомому с этого рода бумагами.

Я стал подозревать истину и пытался заставить Груара и Гербо высказать мне ее вполне, смутно догадываясь, что это дело может меня компрометировать; но они божились всеми святыми, что ничего другого не делали, кроме посылки прошения, и сами удивлялись столь быстрому успеху. Я не верил ни слову, но, не имея никаких доказательств противного, должен был успокоиться на этом. На следующий день меня позвали в регистратуру. На вопросы судебного следователя я отвечал, что ничего не знаю о составлении поддельного приказа и что только давал свою комнату как единственное спокойное место в тюрьме для составления оправдательной просьбы; я прибавил, что все это может подтвердить и тюремщик, так как он часто входил в комнату во время работы, по-видимому, принимая большое участие в Буателе. Груар и Гербо были также спрошены и посажены в секретную; я же оставался в своей комнате. Тюремный товарищ Буателя раскрыл мне всю интригу, которую я едва только подозревал.

Груар, слыша постоянно, как Буатель охотно обещал сто талеров за свою свободу, стоворился с Гербо насчет этого, и они не нашли ничего удобнее, как составить подложный приказ. Буатель, конечно, был посвящен в тайну, и ему сказали при этом, что так как приходилось поделиться со многими, то он должен дать четыреста франков. Тогда-то обратились ко мне с просьбою о комнате, которая была необходима для писанья подложного приказа; тюремщик тоже был соучастником, как можно судить из его частых визитов в мою комнату и из обстоятельств, предшествовавших и последовавших за выходом Буателя. Приказ был принесен другом Гербо, по имени Стофле. По всей вероятности, Буателя убедили, что и я буду участвовать в барышах, хотя все моя услуга заключалась только в уступлении комнаты. Извещенный обо всем этом, я сначала уговаривал того, кто сообщил мне подробности, донести куда следует, но он наотрез отказался, говоря, что не желает выдавать тайну, вверенную под клятвой, и притом не желал быть рано или поздно убитым заключенными за подобную измену. Он даже меня отговорил заикаться о чем-либо судебному следователю, уверяя, что я не подвергнусь ни малейшей опасности. Между тем Буателя арестовали на родине; посаженный в секретное отделение в Лилль, он назвал соучастниками побега Груара, Гербо, Стофле и Видока. Мы снова были спрошены и, твердый в своем решении, я упорно оставался при своих первых показаниях, тогда как мог тотчас же выпутаться из дела, передавши все, что знал от товарища Буателя; я даже до такой степени был убежден, что насчет меня ничего не могло быть серьезного, что меня как громом поразило, когда по истечении трех месяцев, рассчитывая выйти, я вдруг узнал, что внесен в тюремный список как подсудимый за участие в подлоге подлинных и публичных документов.

## Глава пятая

*Три побега. – Я победоносно раскланиваюсь со своими преследователями, засажеными под арест. – Я безнадежно увяз в дыру. – Шайка поджаривателей (chauffeurs) и новый ловкий побег. – Самоубийство. – Обвинение в убийстве, процесс и оправдание. – Новый побег. – Контрабандисты. – Меня снова арестовали.*

Тогда только я начал думать, что все это дело примет дурной оборот для меня; но отпирательство от прежнего показания, не подтвержденное никакими доказательствами, было бы опаснее самого молчания; да и притом было поздно прерывать его. Все эти мысли так сильно меня волновали, что я сделался болен, и Франсина все время усердно за мной ходила. Выздоровевши, и не будучи в состоянии долее выносить неопределенное положение я решился бежать, и бежать просто через двери, хотя это и казалось довольно трудным: некоторые особенные соображения заставили меня предпочесть этот способ всякому другому. Привратник Башни Святого Петра был арестант из брестского острога, осужденный на вечную каторгу; при пересмотре приговоров, по своду Законов 1791 года, ему смягчили наказание шестилетним заключением в Лилль, где он оказался полезным тюремщику. Последний, думая, что человек, прошедший четыре года в остроге, будет драгоценен в качестве сторожа, потому что ему должны быть известны все способы побегов, поручил ему эту должность и решил, что лучше выбора нельзя было сделать. Но я на это-то чудо проницательности и рассчитывал в своем плане и тем легче надеялся обмануть, что он был в ней слишком уверен. Словом, я решился пройти мимо привратника в мундире штаб-офицера, приезжавшего два раза в неделю для освидетельствования Башни Святого Петра, служившей в то же время тюрьмой и для военных.

Франсина, которую я видал почти ежедневно, купила мне требующийся костюм и принесла его в своей муфте. Платье было совершенно впору и сидело отлично. Видевшие меня в нем заключенные сказали, что нельзя ошибиться. Я действительно был одного роста со штаб-офицером, а гримировка сделала меня на двадцать пять лет старше. Через несколько дней он приехал для обычного осмотра. Пока один из моих друзей приостановил его, под предлогом освидетельствовать провизию, я быстро переделся и очутился у ворот; привратник почтительно снял шляпу, отворил, и вот я на улице. Я направился к подруге Франсины, как было условлено между нами, а вскоре за тем и она сама пришла туда же.

Там я был совершенно огражден от поисков, если бы согласился не выходить, но как вынести заключение почти такое же, как и в Башне Святого Петра! Просидевши три месяца в четырех стенах, я теперь жаждал расправить крылья и пустить в ход свою деятельность. Я захотел выйти, и, благодаря своей железной воле, сопровождавшей всегда все мои даже самые странные желания, – я вышел. Первая прогулка мне удалась. На следующий день я встретил на улице городского Людвига, который видал меня в тюрьме и теперь прямо спросил: «Разве вы освобождены?» Это была плохая встреча, и притом он мог немедленно созвать человек двадцать. Я отвечал, что готов за ним следовать, и просил только дозволения проститься с Франсиной. Он согласился, и возлюбленная моя была чрезвычайно удивлена, встретив меня с подобным провожатым. Я сказал ей, что изменил намерение, и, размыслив, что побег может повредить мне во мнении судей, решился возвратиться в тюрьму и ожидать окончания дела.

Франсина сначала не могла сообразить, каким образом, заставя ее издержать триста франков, я через четыре месяца вздумал возвращаться в тюрьму; но я знаками дал ей понять, в чем дело, и даже сумел попросить насыпать мне в карман золы, пока мы с Людвигом разопьем по стакану рома. На пути в тюрьму, в одной из пустынных улиц, я бросил в глаза своему спутнику золы, а сам пустился бежать домой изо всех сил.

Людвиг не замедлил обо всем донести. На поиски за мной подняли жандармов, полицию и, между прочим, частного пристава Жаккара, который обещался всенепременно поймать меня, если только я не выехал из города. Все это было мне известно, и вместо того, чтобы быть сколько-нибудь осторожнее, я напустил на себя самую смешную отвагу. Можно было подумать, что я сам получу награду за свой арест, между тем меня усердно выслеживали.

Жаккар узнает раз, что я должен обедать в улице *Notre Dame*, в игорном доме. Он тотчас же прибегает с четырьмя полицейскими, оставляет их внизу и входит в комнату, где я только что намеревался сесть за стол с двумя дамами. Фурьер, который должен был присоединиться к нам, еще не появлялся. Я узнаю частного пристава, который, никогда меня не выдав в лицо, не имеет этого преимущества; притом я так хорошо был переряжен, что никакие приметы не помогли бы. Я подхожу к нему без малейшего замешательства и самым натуральным тоном прошу войти в кабинет, зеркальная дверь которого выходила в залу.

– Вы ищете Видока, – сказал я ему прямо, – если хотите подождать минут десять, то я вам покажу его... Вот его прибор, он не замедлит явиться... При его приходе я сделаю вам знак, но если вы одни, то сомневаюсь, чтобы вы могли его взять, потому что он вооружен и решился защищаться.

– У меня по лестнице расставлены люди, и если он убежит...

– Сохрани вас Боже оставлять их там, – возразил я с притворной поспешностью. – Если Видок их увидит, он будет страшиться какой-нибудь засады, и тогда... прости, птичка...

– Но куда же мне их спрятать?

– А вот в этот кабинет... Особенно, ради Бога, без шума, иначе ничего не удастся... Я больше вашего заинтересован в том, чтобы его удалить.

И вот мой почтенный пристав со своей свитой ловко засажены в кабинет. Дверь была весьма крепкая и приперта мною в два раза. Тогда, уверенный в благоприятном побеге, я закрычал своим добровольным пленникам: «Вы искали Видока... так знайте же, что Видок засадил вас в клетку. До счастливого свидания!» И я исчез, как стрела, сопровождаемый криками заключенных, делавших невероятные усилия освободиться из засады и взывающих о помощи.

Еще две шалости в подобном же роде удались мне, но в заключение я все-таки был пойман и помещен в Башню Святого Петра, где, для большей безопасности, меня посадили в тюрьму вместе с Каландреном, которого наказывали за две попытки к побегу. Каландрен, знавший меня во время моего первого заключения, тотчас же сообщил мне о своей новой попытке к побегу посредством отверстия, сделанного в стене тюрьмы каторжников, с которой мы были рядом. На третий день моего заключения меня действительно вынудили бежать. Восемь из нас, прошедших вперед, были счастливым образом не замечены часовым, стоявшим неподалеку. Оставалось еще семь. Кинули жребий соломинками, как это обыкновенно делают в подобных случаях, чтобы решить, кому идти первому. Судьба назначила меня, и я раздевался, чтобы удобнее пройти сквозь весьма узкое отверстие, но, к великому отчаянию моих товарищей, я засел в нем и не мог пройти ни взад ни вперед. Тщетны были их усилия вытащить меня руками: я был как бы в тисках, и боль от этого положения сделалась столь нестерпимой, что, потерявши надежду на помощь изнутри, я стал звать часового. Он подошел с осторожностью человека, боящегося неожиданностей, и, приставив штык к моей груди, запретил мне делать малейшее движение. На его крики караул взялся за оружие, привратники сбегались с факелами, и я был вытасчен из засады, оставя там несколько клочков мяса. Несмотря на мое плачевное положение, меня тотчас же перевели в тюрьму *Petit-Hotel* и сковали руки и ноги.

Мои мольбы и обещания оставить всякую мысль о побеге были настолько убедительны, что через десять дней я был выпущен оттуда и посажен вместе с другими заключенными. До сих пор я жил с людьми, далеко не безупречными, с ворами, мошенниками, поддельщиками, но тут я очутился с отъявленными злодеями. Между ними был один из моих соотечественников, по имени Десфоссо, человек с замечательным умом и огромной силой, который, будучи

приговорен с восемнадцати лет к каторжным работам, три раза бегал из острога. Стоило только послушать, как он рассказывал о своих подвигах, как холодно говорил, что когда-нибудь гильотина состряпает из его мяса славные сосиски. Несмотря на невольный ужас, внушаемый мне этим человеком, я любил его расспрашивать о его странной профессии, и что особенно влекло меня к нему, это надежда на возможность побега. В то же время я сблизился со многими личностями из шайки так называемых шофферов или поджаривателей, грабившей окрестные села под начальством знаменитого Салламбе. Таковы были: Август Пуассар, по прозванию Провансалец, Шопин, Карон-младший, Карон Горбач, Дугамель и Брюкселюа, прозванный Неустрашимым за беспримерный подвиг мужества, который стоит того, чтобы сообщить о нем читателю. Напавши на одну ферму с шестью товарищами, он просунул левую руку в отверстие, сделанное в ставне, но когда хотел ее вытащить, то почувствовал, что она затянута в глухую петлю. Жители фермы, разбуженные шумом, постарались устроить эту ловушку, так как, страшась многочисленности шайки, не смели выйти. Между тем близко было к рассвету, и воровская попытка, очевидно, не удалась. Брюкселюа видит замешательство своих спутников, и ему приходит в голову, что из боязни быть выданными они его подстрелят. Тогда он правой рукой вынимает двухконечный нож, бывший всегда с ним, отрезает кисть руки и убегает вместе с другими, не обращая внимания на боль. Этот удивительный случай, приписываемый различным местностям, в действительности происходил близ Лилля и хорошо памятен жителям Северного департамента, которые видели казнь Безрукого, совершившего этот подвиг.

Представленный столь компетентным лицом, как мой соотечественник Десфоссо, я был принят в кругу разбойников с распростертыми объятиями. Они с утра до вечера только и делали, что обдумывали новые способы бегства. В этом случае, как и во многих других, я мог заметить, что у заключенных жажда свободы, сделавшись исключительной идеей, порождает такую невероятную изобретательность, которая человеку в спокойном состоянии никогда не может прийти в голову. Свобода!.. Все соединено с этой мыслью. Она преследует преступника во весь его длинный, праздный день, преследует в зимние вечера, которые он должен проводить в совершенной темноте, оставленный на произвол своему беспокойству и нетерпению. Войдя в тюрьму, вы слышите шумные возгласы веселья, так что можно принять ее за увеселительное место; но подойдите ближе, и вы увидите, что эти физиономии делают гримасы, а глаза не смеются: они неподвижны и суровы. Это условное веселье вполне искусственно в своем необузданном проявлении, подобно радости шакала, прыгающего в клетке с целью сломать ее.

Зная, с какими людьми имеют дело, наши сторожа столь тщательно за нами смотрели, что ни один план не мог нам удался. Наконец представился единственный случай, обещавший успех, и я ухватился за него прежде, чем он мог прийти в голову кому-либо из моих сотоварищей, при всей их ловкости и дальновидности. Нас повели на допрос восемнадцать человек зараз и оставили в передней судебного следователя, под охраной армейских солдат и двух жандармов, один из которых положил возле меня свою шапку и шинель и вышел; другого жандарма звонок тоже вскоре вызвал. Я, не думая долго, накидываю шапку на голову, закутываюсь в шинель, беру за руку одного из заключенных и, делая вид, что провожаю его за известной надобностью, смело иду к двери; сторож-капрал выпускает нас, не говоря ни слова. И вот мы на воле, но что делать без денег и без паспорта?.. Спутник мой отправляется в деревню, а я, рискуя снова быть пойманным, возвращаюсь к Франсине, которая от радости свидетельствует со мною готова все свое распродать и бежать со мной в Бельгию. Все уже готово было к отъезду, как вдруг самый неожиданный случай, объясняемый только моей невообразимой беспечностью, все разрушил.

Накануне отъезда, уже в сумерках, я встретился с одной женщиной из Брюсселя, по имени Элиза, с которой я там находился в интимных отношениях. Она бросилась мне на шею и, преодолев мое слабое отнекиванье, зазвала с собой ужинать и не пустила до следующего дня. Отыскивавшую меня повсюду Франсину я уверил, что, будучи преследуем полицией, бросился

в один дом, откуда нельзя было выбраться до утра. Сначала она этому поверила, но, случайно узнавши, что я провел ночь с женщиной, она разразилась ревнивыми упреками и в припадке ярости побожилась, что выдаст меня. То было, конечно, самое верное средство охранить себя от измены – засадивши меня в тюрьму. Но так как Франсина способна была это исполнить, то я и нашел благоразумным удалиться на время, пока стихнет ее гнев, а затем, вернувшись, ехать вместе. Но, имея нужду в своих вещах и не желая их требовать от Франсины из боязни новой баталии, я пошел один в квартиру. Так как она была заперта, то я вошел через окно, забрал что было мне нужно, и исчез.

Дней пять спустя, одевшись мужиком, я решился оставить избранное мной убежище в предместьи. Вхожу в город и иду к портнихе, закадычному другу Франсины, надеясь через ее посредничество примириться с последней. Она встречает меня с таким замешательством, что я, видя в этом боязнь скомпрометировать себя сношением с беглым и не желая ее стеснять, прошу ее только позвать ко мне Франсину. «Да!..» – сказала она каким-то необыкновенным тоном и, не поднимая на меня глаз, вышла. Оставшись один, я размышлял об этом странном приеме... Вдруг стучат; я отворяю, думая встретить, Франсину... Толпа жандармов и полицейских бросается на меня, схватывает, связывает и отводит к судье, который прямо начинает с вопроса, где я находился последние пять дней. Ответ мой был короток; я никогда не запутал бы лиц, давших мне убежище. Судья заметил: мне, что упрямство в правильности показания будет для меня губительно, что дело идет о моей голове, и т. д. Я только посмеивался, видя в этом уловку вырвать признание, запугивая подсудимого. Итак, я остался при своем, и меня отвели в *Petit-Hotel*.

Едва я вошел на двор, как все взоры обратились на меня; стали перекликаться, перешептываться. Приписавши это моему переряживанью, я не обратил внимания на такую встречу. Меня запирают в конуру и оставляют одного, на соломе, в оковах. Через два часа является тюремщик и, притворяясь принимающим во мне участие, говорит, что мой отказ в признании, где я провел эти пять дней, может повредить мне во мнении судей. Я остаюсь непоколебимым. Проходит еще два часа. Приходят тюремщик с помощником, снимают с меня оковы и ведут в регистратуру, где уже были двое судей. Новый допрос и тот же ответ с моей стороны. Тогда меня раздевают с головы до ног; дают мне в правое плечо полновесный удар, чтобы выяснилось старое клеймо, предполагая, что я мог быть заклеимен прежде; отбирают мое платье, записывают его в протокол, и я возвращаюсь в свою конуру в холстинной рубашке и сюртуке, полу-сером и получерном, превратившемся уже в лохмотья и, по всей вероятности, выдержавшем поколения два арестантов.

Все это заставило меня сильно призадуматься. Очевидно было, что портниха донесла на меня, но с какой целью? Она не имела на меня ни малейшего неудовольствия. Франсина, несмотря на всю свою вспыльчивость, не обдумавши хорошенько, тоже не решилась бы на это, и если я ушел от нее на время, то это было не столько из боязни, сколько для того, чтобы не раздражать ее своим присутствием. И затем эти частые допросы, эти таинственные намеки тюремщика? Зачем спрятали мое платье?.. Я терялся в лабиринте предположений. А пока меня засадили в секретную, под наистрожайший надзор, и я провел там двадцать пять мучительных дней. Затем мне сделали следующий допрос, который выяснил дело.

- Как ваше имя?
- Эжен-Франсуа Видок.
- А звание?
- Я военный.
- Вы знаете девицу Франсину Лонге?
- Да, это моя любовница.
- Вы знаете, где она теперь находится?
- Она должна быть у одной из своих подруг, с тех пор, как продала свою мебель.

– Как имя этой подруги?  
– Г-жа Буржуа.  
– Где она живет?  
– Улица Святого Андре, дом булочника.  
– Сколько времени тому назад, как вы оставили девицу Лонге до вашего ареста?  
– За пять дней перед арестом.  
– Зачем вы оставили?  
– Чтоб избежать ее гнева. Она узнала, что я провел ночь с другой женщиной, и в припадке ревности грозила донести на меня.

– С какой женщиной провели вы ночь?  
– С прежней любовницей.  
– Как ее имя?  
– Элиза... Я никогда не знал ее другого имени.  
– Где она живет?  
– В Брюсселе, куда она, я думаю, вернулась.  
– Где ваши вещи, которые были у девицы Лонге?..  
– В месте, которое я укажу, если представится надобность.  
– Каким образом вы могли их взять после того, как поссорились с ней и не хотели ее видеть?

– Вследствие нашей ссоры в кофейной, где она меня нашла и угрожала позвать полицию, чтоб арестовать меня. Зная ее дурной характер, я пошел домой не прямой дорогой и пришел раньше нее; имея нужду в некоторых вещах, я разломал окно и взял, что мне было нужно. Вы спрашивали, где они теперь: они в улице Спасителя, у Дюбока.

– Вы говорите неправду... Прежде чем расстаться с Франсиной, у нее в доме вы имели большую ссору... Уверяют, что вы даже прибегли к насилию!..

– Неправда... Я не видал Франсину у ней в квартире после нашей ссоры, стало быть, не мог ее обижать... Она сама может это заявить!..

– Узнаете вы этот нож?  
– Да, я этот нож обыкновенно употреблял за столом.  
– Вы видите, что лезвие и ручка покрыты кровью?.. Это не производит на вас никакого впечатления?.. Вы смутились!

– Да, – сказал я с волнением, – но что же случилось с Франсиной?.. Скажите мне, и я вам дам все возможные объяснения.

– Не случилось ли с вами чего особенного, когда вы пришли за своими вещами?

– Решительно ничего, насколько я помню, по крайней мере.

– Вы настаиваете в справедливости своих показаний?

– Да.

– Вы обманываете правосудие... Прекращаю допрос, чтобы дать вам время размыслить о вашем положении и о последствиях вашего упрямства... Жандармы, хорошенько смотрите за этим человеком... Ступайте!

Было поздно, когда я возвращался в свою конурку; мне принесли мою порцию; но волнение, причиненное допросом, не давало мне есть; спать также было невозможно, и я провел всю ночь, не смыкая глаз. Совершенно было преступление; но над кем и кем? Зачем его взводили на меня? Я тысячу раз делал себе эти вопросы и не находил разумного разрешения; на другой день меня снова позвали на допрос. После обычных вопросов дверь в комнату растворилась, и вошли два жандарма, поддерживая женщину... Это была Франсина... Франсина бледная, обезображенная, почти неузнаваемая. Увидя меня, она лишилась чувств. Я хотел подойти к ней, но жандармы удержали меня. Ее вынесли, а я остался один с судебным следователем, который спросил меня, что неужели вид этой несчастной не побуждает меня во всем сознаться.

Я снова стал верить в своей невинности, прибавя, что даже не знал о болезни Франсины. Меня опять посадили в тюрьму, но уже не в секретное, и я мог надеяться, что скоро узнаю во всех подробностях происшествие, жертвою которого я сделался. Я спрашивал тюремщика; но мне не отвечали; написал Франсине; но меня предупредили, что письма, адресованные к ней, будут представлены в регистратуру, а что ко мне ее не пустят. Я был как на горячих угольях и наконец решился обратиться к адвокату, который, познакомившись с ходом дела, сказал мне, что я обвинен в убийстве Франсины. В тот самый день, как я ушел от нее, ее нашли умирающей, с пятью ранами, плавающей в крови. Мое быстрое исчезновение, тайный захват своих вещей, перенесенных в другое место, как бы для того, чтобы скрыть их от глаз правосудия; разломанное окошко, следы воровства, подходящие к моим шагам, – все это делало вероятною мою преступность; вдобавок я был переряжен, что служило новой уликой: думали, что я пришел переодетым только за тем, чтобы удостовериться, что она умерла, не обвинивши меня. Даже то, что в другом случае служило бы к оправданию, на этот раз было мне же во вред: как только доктор позволил ей говорить, она заявила, что в отчаянии быть покинутой человеком, которому всем пожертвовала, решила на самоубийство и сама себя ранила ножом. Но ее привязанность ко мне делала это свидетельство подозрительным; были убеждены, что она это говорила только чтобы спасти меня.

Адвокат перестал говорить уже с четверть часа... а я все еще слушал, как человек под влиянием кошмара. В двадцать лет я находился под тяжестью двойного обвинения – в подлоге и убийстве, не сделавши ни того, ни другого!!! Мне не раз приходило в голову повеситься в своей конуре, и я близок был к сумасшествию; но в заключение опомнился и настолько ободрился, что мог обдумывать лучшие средства к своему оправданию. В предыдущих вопросах сильно налегали на улику крови, которую рассыльный видел на моих руках, принимая от меня вещи; эта кровь была от раны, которую я сделал, разламывая окошко, и я даже мог привести» в этом двух свидетелей. Адвокат, которому я сообщил все придуманное мною, уверял, что все это, будучи присоединено к показанию Франсины, которое одно не имело бы никакой силы, непременно послужит к моему оправданию, что действительно вскоре и случилось. Франсина, хотя еще весьма слабая, пришла тотчас же со мной повидаться и подтвердила все, что я узнал о ней на суде.

Таким образом я избавился от одного страшного обвинения, но оставалось другое: мои частые побеги все замедляли ход процесса о подлоге, в котором я был замешан, так что Груар, не видя этому конца, тоже бежал. Но благоприятный исход первого обвинения подавал мне надежду, и я нимало не думал о побеге, когда неожиданно представился к тому случай, за который я, можно сказать, ухватился инстинктивно. В комнате, где я содержался, находились пересыльные арестанты. Раз, пришедши за двумя из них, тюремщик забыл запереть дверь; увидевши это, я мигом спустился вниз и осмотрел местность. Так как было раннее утро и все арестанты спали, то я никого не встретил ни на лестнице, ни у ворот. Я уже был на воле, как тюремщик, пивший полынную водку в кабаке против тюрьмы, увидал меня и закричал: «Держите! Держите!» Но тщетны были его крики: улицы были пусты, а жажда свободы придавала мне крылья. Через несколько минут я исчез из вида и вскоре пришел в один дом в квартале Спасителя, где, я был уверен, меня не придут отыскивать. С другой стороны, надо было скорее оставить Лилль, где я был слишком известен, чтобы долго оставаться в безопасности.

Меня повсюду разыскивали, и при начале ночи я узнал, что городские ворота были заперты; выход был только через калитку, окруженную переодетыми полицейскими и жан-дармами, которые следили за всеми проходящими. Я решился спастись через ров и, зная превосходно местность, в десять часов вечера пошел на бастион *Notre-Dame*, который считал самым лучшим местом для исполнения своего плана. Привязав к дереву нарочно заготовленную веревку, я стал спускаться; но вскоре, вследствие тяжести своего тела, стал лететь вниз с такой быстротою, что не в силах был удержать в руках жгучую веревку и пустил ее на рассто-

янии пятнадцати футов от земли. При падении я свихнул ногу, так что принужден был употреблять невероятные усилия, чтобы выбраться изо рва; но после того уже я положительно не мог двинуться далее. Я сидел, изрекая красноречивые проклятия на все рвы, на веревку, на свой вывих, хотя это нимало не помогало делу, когда мимо меня прошел человек, везя тачку, которые в таком большом употреблении во Фландрии. Я предложил ему шестифранковый талер, единственный, который у меня был, и он согласился довести меня в своей тачке до ближайшей деревни. Введя меня в свой дом, он уложил меня в постель и стал натирать мою ногу водкой с мылом; жена его также усердно помогала, не без удивления поглядывая на мой костюм, весь испачканный в грязи. У меня не спрашивали никакого объяснения, но я понимал, что его следует дать, и потому, чтобы обдумать его, я сделал вид, что весьма желаю успокоиться, и попросил их выйти. Спустя два часа я позвал их голосом пробудившегося человека и вкратце рассказал им, что, поднимая на вал контрабандный табак, я упал; товарищи мои, преследуемые досмотрщиком, должны были оставить меня во рву. Ко всему этому я прибавил, что судьба моя в их руках. Эти добрые люди, презиравшие всех таможенных так же искренно, как всякий пограничный житель, уверяли меня, что они меня не выдадут ни за что на свете. Для испытания я спросил, не было ли возможности переправить меня на другую сторону к отцу, — они отвечали, что это значило рисковать собою, что гораздо было лучше подождать несколько дней, пока я оправлюсь. Я согласился, и чтобы отклонить всякое подозрение, решено было, что они выдадут меня за приехавшего к ним родственника. Впрочем, никто и не обращался ни с какими расспросами.

Успокоенный с этой стороны, я стал размышлять о своих делах и о том, что мне надо решиться. Очевидно, надо было совсем выехать и отправиться в Голландию. Но для исполнения этого плана необходимы были деньги; а у меня, кроме часов, которыми я заплатил хозяину, оставалось только четыре ливра и десять су. Я мог бы прибегнуть к Франсине; но нельзя было сомневаться, что за ней тщательно наблюдают, так что послать к ней письмо значило бы предать себя в руки правосудия; по крайней мере, надо было обождать, пока перейдет первое, жаркое время розысков. И я ждал. По прошествии двух недель я решился черкнуть словечко своей возлюбленной и отправил с письмом хозяина, предупредив его, что так как эта женщина служит посредницей контрабандистам, то лучше из предосторожности видеться с ней тайно. Он отлично выполнил поручение и к вечеру принес мне сто двадцать франков золотом. На следующий же день я простился со своими хозяевами, которые выказали весьма скромные требования за все свои услуги. Через шесть дней я прибыл в Остенде.

Цель моя была, как и в первую поездку в этот город, отправиться в Америку или в Индию; но я нашел только прибрежные датские или английские суда, куда меня не взяли без документов. Между тем небольшая сумма денег, привезенная мною из Лилля, видимо истощалась, так что предвиделось снова впасть в одно из тех положений, с которыми можно более или менее осваиваться, но которые тем не менее весьма неприятны. Деньги, конечно, не дают ни гения, ни талантов, ни ума; но самоуверенность, доставляемая ими, может заменить все эти качества, тогда как отсутствие ее, напротив, часто их совсем стушевывает. Нередко случается, что когда необходимы все способности ума для того, чтобы достать денег, эти способности вдруг пропадают именно вследствие отсутствия денег. Ко мне именно можно было отнести это; а между тем есть было необходимо; это отправление часто гораздо труднее бывает удовлетворить, нежели то кажется многим счастливым мира, воображающим, что для него ничего не нужно, кроме аппетита.

Мне часто рассказывали об отважной и доходной жизни береговых контрабандистов; арестанты даже хвалили ее с энтузиазмом, потому что этой профессией часто занимаются по страсти, люди, состояние и общественное положение которых должны бы были отвратить их от столь опасной карьеры. Что касается до меня, то я нимало не пленялся перспективой проводить целые ночи у крутых берегов, посреди утесов, подвергаться всякой погоде и вдобавок

ударам досмотрщиков. Поэтому я с большой неохотой отправился к некоему Петерсу, рекомендованному мне контрабандисту, который мог посвятить меня в дело. Чайка, прибитая к двери с распростертыми крыльями, подобно сове или другой какой птице, часто встречающаяся у входа сельской хижины, легко дала мне возможность найти его. Я застал его в погребе, который можно было принять за пространство между деками на судне, так он был загроможден канатами, парусами, веслами, гамаками и бочками. Сначала контрабандист взглянул на меня недоверчиво из окружавшей его дымной атмосферы; это мне показалось дурным предзнаменованием, что не замедлило подтвердиться, потому что когда я предложил ему себя в услужение, то он бросился отчаянно колотить меня. Я, конечно, мог бы с успехом защищаться, но неожиданность и изумление отняли у меня самую мысль о защите; притом на дворе было несколько матросов и огромная ньюфаундлендская собака, которые бы могли взглянуть на это неблагоприятно. Поэтому, выскочив на улицу, я старался объяснить себе столь странный прием, и тут мне пришло в голову, что Петерс мог принять меня за шпиона. Такое заключение заставило меня отправиться к одному продавцу можжевеловой водки, которому я успел внушить достаточно доверия. Сначала он слегка посмеялся над моим приключением, а затем наставил меня, как нужно было обратиться к Петерсу. Я снова пошел к грозному патрону, запасшись, однако, большими камнями, которые, в случае нового нападения, могли со славой прикрыть мое отступление. Со словами: «Берегитесь, акулы!» (таков был лозунг Петерса, разумевшего под акулами таможенных) я смело приблизился к нему и был принят почти дружески; моя сила и ловкость гарантировали успех в этой профессии, где часто представляется необходимость быстро переносить с места на место огромные тяжести. Один из контрабандистов, Борделе, взялся меня посвятить в тайны искусства; но мне пришлось заняться самим делом прежде надлежащей подготовки.

Я спал у Петерса в обществе двенадцати или пятнадцати контрабандистов разных наций; голландцев, датчан, шведов, португальцев и русских; англичан не было, а французов было двое. На другой день после моего вступления, когда каждый из нас устраивал себе постель, вдруг неожиданно вошел Петерс. Надо сказать, что наше незатейливое помещение было не что иное, как погреб, до такой степени набитый тюками и бочками, что мы с трудом находили возможность развешивать свои гамаки. На Петерсе не было его обычного костюма конопатчика или парусника, а была шапка из конского волоса, красная рубашка, заколотая на груди серебряной булавкой, и огромные рыбацьи сапоги, которые, доходя до бедер, могут по произволу спускаться ниже колена.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.